

ДОМ

Повесть

Сколько домов вокруг! Они вырастают на пустом пространстве, словно по мановению чудотворца. Темными глазницами окон и застекленными верандами смотрят они на бегущие по проспекту машины, на спешащих по суетным делам пешеходов. Это днем. А когда стемнеет, в домах начинают зажигаться огни. Манящая желтизна света притягивает взгляд. Раньше, когда в моде были абажуры и торшеры, каждое окно отличалось своей расцветкой. Теперь только яркостью. Стандартные многоэтажные дома. За каждым окном своя жизнь, непохожая на жизни других и на мою жизнь. За строем домов из моего окна виден зеленый массив — это парк, вернее, это когда-то был парк. Теперь вид красивый только издалека.

Город, где я сегодня живу, снесла с земли английская авиация. Что не успели разрушить бомбы, довершили мы. Взрывали кирпичи, замки, расчищали место для новых домов, в том числе и для моего дома.

Война была давно, в моем детстве. И в этом детстве слово «дом» долгое время было для меня абстрактным понятием. Город моего детства был полностью разрушен. Три раза он переходил из рук в руки — и от него вообще ничего не осталось. Когда мы вернулись из эвакуации, то первым жильем нашим стала землянка. Добротная, вырытая солдатами, устеленная настоящими досками. С почти непротекаемым настилом вместо крыши. Правда, в том углу, где были мои нары, после дождей скапливалась вода. Тогда это мало тревожило меня и лишь спустя годы аукнулось острым ревматизмом. Не одни мы жили в землянке, как все, так и мы...

Первый дом, выстроенный в моем родном городе среди развалин, поднялся на острове Дятленка. Красивый был остров, весь в зелени, яблони оживали от ран, корой обрастали обожженные стволы. А дом был как из сказки. Мы часто ходили на него смотреть. Черепичная крыша поблескивала на солнце, окна были занавешены, и там шла какая-то таинственная жизнь. В первый раз привел меня туда мой друг-одноклассник, живший в соседней землянке, одноногий Филипп. Мы встали, зачарованные, у мостика, ведущего на остров. Дальше ходу не было. В другом конце мостика стоял милиционер и лениво шурился. На нас он не обращал никакого внимания. «Смотри,

Олег Борисович Глушкин родился в 1937 году в городе Великие Луки Псковской области. В 1960 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт. Работал в Калининграде на заводе «Янтарь» докмейстером, в рыбной промышленности, на рыболовных траулерах в Атлантике. В 1985 году принят в Союз писателей. Руководил молодежным литературным объединением «Парус». Издал 19 книг прозы. В 1990 году избран председателем Калининградской писательской организации. В 1991 году основал журнал «Запад России». За вклад в развитие культуры и расширение контактов между российской и европейской культурой удостоен Диплома Канта (2000). Награжден золотой медалью «За полезное» за просветительскую деятельность. Удостоен премий «Вдохновение» и «Признание». Составил и осуществил издание сборника «Кровотокающая память холокоста», собрав и обработав воспоминания уцелевших узников гетто и лагерей смерти. Завершил эту работу романом «Анна из Кёнигсберга».

дом!» — сказал Филипп. «Дом!» — восторженно повторил я. Конечно, думал я тогда, этот единственный дом в городе надо охранять. Ведь все могут захотеть в нем жить. А Филипп был недоволен, он всегда ворчал, с лица не сходила печальная гримаса несбывшихся желаний, жгла, наверное, обида, что не может он бегать вместе со всеми и играть в футбол — обречен стоять только в воротах. И сказал он тихо, так, чтобы не расслышал милиционер: «Вот жируют, с...!» Кого он имел в виду, я понял потом, когда узнал, что в доме этом живет самый главный человек разрушенного города — первый секретарь горкома. Какой-либо зависти или злости к нему я не испытывал. И его дом я даже любил. По ночам мне иногда снился этот дом — плыл он над рекой, словно сказочный корабль, светился малиновыми огоньками в окнах, и лилась из тех окон мягкая завораживающая музыка. И там танцевал Филипп, у которого еще не оторвало ногу гранатой. И воздушные феи в полупрозрачных платьях кружились там, покачивая головками и рассказывая друг другу про свои дома-дворцы...

А вскоре и у нас появился свой дом, вернее, не дом, а вагон. Его приволок трактор, и еще долго две черные колеи виднелись там, где он проехал. Вагон этот мой батя вместе с моим дядей-железнодорожником обшил досками, между досками и металлическими стенами засыпали шлак, сверху сделали настоящую крышу из дранки, — получилось жилье — то, что надо. Семь человек нас там размещались свободно. Сложили печку — она разгородила вагон на две части, в меньшей была кухня и стояла кровать родителей, в большей части — на самом теплом месте у печки был сундук, на котором спала, свернувшись в калачик, бабушка, мы с сестрой спали тоже неплохо — на пахнущих сосной деревянных нарах, дядя-железнодорожник на полу, подстелив под голову свою пропахшую мазутом шинель, а тетушка, контуженная в войну и потому глухая от этой контузии, спала на настоящей кровати, которую ей подарили в госпитале.

Возле дома-вагона рос большой вишневый сад. Был у нас и приличный огород. Отец работал в заготконторе, там ему выделили персональную лошадь. И по весне на ней вспахивали мы свое поле. Сажали в основном картошку. К вагону пристроили просторный сарай, держали свиней, кроликов, кур. Весь этот квохающий, хрюкающий, цветущий вокруг мир был истинным раем моего детства. Напуганные военным и послевоенным голодом, родители мои все запасали впрок, и в сарае всегда стояли кадушки с капустой, огурцами, грибами. Никаких пенсий тогда ни бабушка, ни контуженная тетушка не получали, всех кормила земля. За огородом был пруд, поросший ряской и тростником. Из него брали воду для полива грядок, для стирки. А за водой для питья и супа приходилось ходить к водокачке, стоявшей за железнодорожным мостом, — путь длиною более километра каждый день совершали мы с сестренкой и мамой. Мы несли воду в бидонах, а мать в ведре. Этого хватало на день.

Никакой дороги и никакого транспорта через поселок не проходило. Школа была километрах в пяти, за вокзалом. И когда пришла пора идти в школу, то сначала мать сопровождала меня, а потом и самому мне было разрешено преодолевать долгий путь вдоль железнодорожных рельс... Старшеклассники пешком почти не ходили. По примеру старших мы, конечно, тоже старались не шагать по шпалам, а ждали проходящих от станции поездов и вскарабкивались на ходу на открытые платформы. В школе мне все завидовали: все-таки я жил в отдельном доме-вагоне, большинство же моих сверстников в лучшем случае ютились в бараках, а то и в землянках.

Первые дома в городе начали возводить пленные немцы. Ходили они везде без конвоя. Голодали. Побирались. Мать всегда выносила им остатки еды, несмотря на ворчание бабушки и запреты отца. Были всем памятливы те страдания, что принесли эти, сейчас вроде бы тихие, в обтрепанных шинелях бывшие вояки. Мы, пацанва, были к ним безжалостны, дразнили их, наполняли их котелки помоями. Они все сносили

молча. Дома строили добротнo, с немецкой аккуратностью. Первыми заселялись в эти дома большие начальники и торговцы, умевшие дать этим начальникам соответствующую мзду.

Бедные мои родители так и прожили молодые свои годы то в землянке, то в вагоне, где и уединиться им было нeгде. И лишь когда я перешел в восьмой класс, получили наконец комнату на улице Сибирцева в настоящем пятиэтажном доме, комнату в целых двадцать квадратных метров, правда, разместить там для всех кровати мы все же не смогли, и я спал на полу рядом с сестренкой. Но было в той комнате сухо и тепло и не надо было топить печку. Зато лишились мы и вишневого сада, и огорода. А добавились в нашу жизнь соседи. Четыре хозяйки постоянно воевали за каждый сантиметр узенькой кухни — с грохотом летели со столов кастрюли, столы отодвигались по ночам, продукты выбрасывались из оконного пространства, скандалы возникали из-за очередности уборки. Муж одной из соседок — спившийся председатель охотхозяйства, подзуживаемой ею, — лез с кулаками на отца. Начав скандалить вечером, он не мог успокоиться всю ночь. Стены в доме были не лучшей изоляции, и все было слышно. «Я вас всех сгною, падлы! — истошно орал он. — У меня в горкоме все кореша! Все — охотники! Убью — и ничего мне не будет! Завалю, как вонючих кабанов!..»

Первой не выдержала бабушка, я не знаю, что у них произошло, но этот сосед ударил ее. Тогда мой батя прижал его в углу кухни и начал душить. Сосед хрипел и извивался, как змея. Их едва растащили. Сосед ползал в ногах у бати и клялся, что будет тише воды, ниже травы. Но прошло всего несколько дней, и сосед забыл свои клятвы, и снова по ночам из-за тонкой стенки слышались непрекращающиеся угрозы. И закончилась эта коммунальная война только тогда, когда сосед получил квартиру в своем охотхозяйстве. И на его место въехала семья, где было пятеро детей, и легче от этого не стало...

И когда я закончил школу, то твердо решил вырваться из родительского дома, вернее не дома, а комнаты, в которой у меня не было даже кровати. Я окончательно решил, что даже если не поступлю в институт, то домой не вернусь, а попытаюсь устроиться там, в большом городе на Неве.

Мне повезло. Сдав почти все экзамены на «отлично», я стал студентом самого престижного вуза — корабелки. Здесь на шесть лет я обрел свой дом, свою обитель — студенческое общежитие. Место в общежитии мне дали почему-то не сразу, нужна была справка о заработке моего отца, и пока я ее ждал, мне пришлось провести несколько ночей в домах своих сокурсников и даже две или три ночи на Витебском вокзале, где спать приходилось сидя на скамейке и очень чутко, чтобы не прозевать милицейского обхода. Для безопасности хорошо было иметь билет на какой-нибудь поезд. Но в ту ночь, когда я попался, у меня не было денег на билет даже до самой ближайшей станции. Дружинники, сжав меня с двух сторон, втолкнули в дежурную комнату милиции, где на длинной скамье жались, как бы сейчас сказали, бомжи. Небритые мужики, осунувшиеся женщины, старики в пропахших потом лохмотьях. Все они молча ждали своей участи. Меня вызвали к милицейскому начальнику одним из последних. Я до сих пор помню его угреватое лицо и оскал металлических зубов и могу подтвердить, что внешность и даже слова бывают обманчивы. Он взял протянутый мной паспорт, долго листал его, а потом обрушился на меня с градом угроз. «Ты понимаешь, что нарушил советские законы? — сказал он. — Никто не может жить в нашем, да и в любом другом городе без прописки! Если каждый захочет жить, где ему вздумается, без прописки, что станет с нашей страной? Она превратится в цыганский табор! Ты будешь выселен из города в двадцать четыре часа!» Я долго объяснял ему, что сдал экзамены, что мне должны скоро дать общежитие... Он отпустил меня только под утро, взяв расписку о том, что я немедленно покину город...

Но следующий день был милостив ко мне: пришла справка от отца, и в ректорате мне дали направление в общежитие, сказали еще, что был звонок из милиции и что какой-то милицейский начальник просил устроить меня как можно быстрее. Вечером я долго и безуспешно искал на вокзале своего заступника, чтобы сказать ему слова благодарности...

Я был тогда по-настоящему счастлив, я был наверху блаженства — наконец-то я обрел свой дом. И главное — ленинградскую, пусть временную, прописку! Меня поселили на равных со всеми первокурсниками в общежитии! Светлая, огромная комната была уставлена кроватями, и среди них, в углу, слева от двери, была и моя личная койка, и даже тумбочка рядом с ней. Посередине комнаты стояли четыре стола с чертежными досками, которые мы всегда сдвигали в субботние вечера, заманивая в гости окрестных девиц. В этой комнате, где обитало более двадцати человек, никогда нельзя было остаться одному. Не было такого дня, чтобы кто-либо не задумал одновременно с тобой не пойти на лекции.

Рядом с комнатой был обширный пятачок в коридоре, на котором почти ежедневно затевались танцы, и зубрить лекции под звуки радиолы могли только стойкие импотенты, ибо стоило приоткрыть дверь и сделать всего один шаг — и ты оказывался в круговороте, где тела льнули друг к другу и манящие запахи и жар передавались тебе.

И можно было на глазах у всех заключить в объятия существо другого пола, казалось бы, недоступное тебе, и качаться под музыку, сплетаясь ногами и ощущая теплое дыхание совсем рядом, совсем близко, — и все казалось таким доступным.

Общежитие — общее житие, все у нас было общее. Никогда нельзя было быть уверенным, что в твоей тумбочке сохранятся до утра припасенные тобой на завтрак булка и бутылка кефира, ибо совершенно не исключалось и было в порядке вещей, что кто-либо ночью, возвратившийся после любовного свидания и чувствующий потерю сил, не восстановит их с помощью твоих скудных припасов. Но ведь и ты тоже в очередную ночь мог опустошить чужую бутылку кефира. Стипендия была мизерной — мы все постоянно хотели есть. Денег хватало на приобретение талонов в студенческой столовой — это были комплексные очень недорогие обеды — да на проезды в трамваях до института. Общежитие находилось в Автове на проспекте Стачек, а институт — на Лоцманской у Калинкина моста, и пешком туда было не добраться. К тому же в Северной столице была масса соблазнов: и театры, и балет, и филармония, и катки, и парки. И когда брал билеты на себя и очередную подружку, то вовсе и не думал, что молодой организм потребует утром хотя бы сайку и стакан чая.

С одеждой тоже не было проблем, собираясь на очередное свидание, можно было запросто позаимствовать галстук и даже пиджак того, кто в этот вечер продолжал зубрить конспекты лекций. Любая твоя вещь могла стать общей для всех — начиная от зубной пасты и кончая теплой шубой в морозные дни, которая была в нашей комнате одной-единственной на всех. Так, в этом огромном и шумном доме в Автове, зарождался в каждом из нас общежитский характер, соответствующий неписаному закону социализма: «Твое мое, и мое твое, и все это наше».

Общими становились не только вещи, твоя личная жизнь тоже становилась общей, все было на виду, все знали, у кого и что творится на душе, знали о его любовных связях, вникали во все детально, и, таким образом, даже твоя девушка становилась девушкой для всех, не в прямом, конечно, смысле, но ты никогда не мог быть уверен, что она принадлежит только тебе и не поселилась напрочно в голове твоего товарища, втайне готовящегося быть твоим сменщиком.

Жизнь на виду, не оставляющая даже тайных уголков в душе. И все же вспоминается она как лучшее, как прекрасное время. Все были равны, и у всех целая вечность

была впереди. За несколько лет совместного житья в этой огромной комнате мы почти сроднились. Даже и сейчас, по прошествии многих лет, мои соседи по общежитию кажутся мне ближе многих моих родственников.

Рядом с моей койкой стояла койка Толяна — талантливого художника, невесть каким ветром занесенного в наш сугубо технический институт. Мы стали с ним истинными братьями. Приехал он из неведомых казахстанских степей, из тех мест, где расстреляны были его родители. Его сумела воспитать сестра матери, но ни средств и ни желания дальше ему помогать у нее не было. Я всегда делился с ним сайкой и кефиром, которые покупал в общежитском буфете. Он был слишком тонок и слаб и не в силах был подрабатывать на разгрузке вагонов, как это с разной степенью частоты делали все мы. Ему не давались расчеты по сопромату и теоретической механике, зато он умел задуматься над происходящим и жадно поглощал книги. Весь наш быт он запечатлел на бумаге. Почти у всех наших выпускников есть его картины, на которых люди и деревья очень схожи и в которых полно отчаяния, совершенно не свойственного нам в те годы. Он чурался знакомств с девицами и абсолютно не мог пить спиртное. Его всегда тошнило. Правда, потом он преодолел свое отвращение к водке и на последних курсах стал бурно наверстывать упущенное. А тогда, в начале учебы, чтобы как-то облагородить нас, он уговорил собрать деньги и купить проигрыватель. Все согласились, полагая, что музыка будет привлекать к нам девиц, — и глубоко ошиблись. Толян накопил пластинок с классической музыкой и стал приучать нас к Баху и Шостаковичу. Он мог неделями не выходить из общежития, чтобы не тратить деньги даже на проезд в трамвае, и потом, накопив на входной билет, пойти в филармонию. Иногда билеты покупал ему я. И мы стояли у белокаменных колонн, наблюдая взмахи смычков и вслушиваясь в переливы мелодий. Толяна не любил наш староста — прирожденный математик, стерильный аккуратист и догматик. Он бесполезно пытался приучать Толяна застилать постель и не брать чужую зубную пасту. Скоро он понял, что это бесполезно, и сумел преодолеть свою неприязнь. Во всяком случае, я часто видел, как они вдвоем мирно сидели у проигрывателя и слушали очередную добытую Толяном пластинку. И это радовало меня, потому что староста тоже был моим другом. Мы вместе ставили опыты в лаборатории и были даже, по словам нашего профессора, близки к какому-то открытию новых методов сварки. Я, как и Толян, нечасто бывал на лекциях, и староста не ставил нам прогулов, не раз сохраняя нам стипендию. Оба они — и Толян, и староста — давно покинули сей мир, но продолжают жить во мне, как самые близкие мне люди. Можно было бы много рассказать еще про обитателей нашей комнаты, и каждый мог стать героем отдельного рассказа. А сколько еще было людей в соседних комнатах, на других этажах — и все они были связаны друг с другом и готовы были всегда вне стен общежития выручить друг друга, как солдаты, принадлежащие к одному воинству. Помню, как в один из вечеров, когда мы праздновали Восьмое марта в соседнем общежитии педагогического института и после танцев разбрелись по комнатам, поцелуй и объятия были внезапно прерваны истошным криком: «Наших бьют!» И тогда из разных комнат всех трех этажей стали выскакивать полураздетые корабелы, спеша на выручку тому, кто попал в передрагу. Общежитие то было небольшим, издавна считалась вотчиной корабелки, но в этот праздник его избрали не только мы, но и курсанты мореходки...

Здание же нашего общежития, наверное, было самым многонаселенным из всех, что выселились на проспекте Стачек. Оно было столь огромным, что можно было запросто заблудиться в его многочисленных коридорах, можно было попасть в любую компанию, можно было быть сытым и пьяным, не имея ни рубля в кармане, и можно было за ночь расстаться со всеми своими денежными запасами, напив и накурмив порой и вовсе незнакомую тусовку.

А еще были под зданием подвалы, целый подземный город, заполненный теплом и паром. Здесь в огромных прачечных стояли чаны, заполненные горячей водой. Полутени, мелькание призрачных потных тел, манящие оголенные руки сокурсниц. Покрасневшие от пара лица, гортанные голоса, визг и раскатистый смех. Рядом с прачечными были душевые — никелированные ряды рожков, теплая вода, смывающая усталость с тела. Здоровые, молодые обнаженные тела. Здесь же, в тайных подвальных закутках, назначались свидания. И те первые подвальные поцелуи кружили голову и наполняли тело сладким томлением...

От этих банно-прачечных подвалов были отделены другие не менее обширные подвалы. Здесь по субботам гремел джаз-банд, и золотая труба корабелки Леша Киохидзе выводил пронзительные мелодии эллингтоновского «Каравана». А в полумраке подвала дергалась танцующая масса, менялись партнеры, кипели страсти, замешивались будущие судьбы, рушились короткие связи...

Были еще и другие помещения в этих бесконечных подвалах. Дальние угловые отсеки, куда вели узкие мрачные коридоры, оккупировали борцы. Тогда в моду входило самбо, и каждый уважающий себя юноша возжаждал овладеть приемами, могущими помочь ему отстоять свою честь. Десятки тренеров обучали этим приемам, потные тела ворочались на матах, постеленных на бетонные полы. Пыхтели, надували щеки, проводили болевые приемы, старались уложить соперника, одолеть друг друга.

Это было не для меня. Я любил баскетбол, но, увы, рост не позволял мне занять достойное место в институтских командах. Зато по весне я часто пропадал во дворе, где можно было бесконечно долго швырять мяч в корзину. Двор общежитский был столь же велик, как и само здание. Окна нашей комнаты выходили в этот двор, и сверху, с седьмого этажа, все мечущиеся на волейбольных и баскетбольных площадках казались головастиками, напуганные явлением в их пруд некоего невидимого, но грозного чудовища. Лучшим местом для занятий в нашей комнате считался подоконник, здесь можно было сидеть, обнажив торс и подставив солнцу тело, наблюдать спортивные баталии во дворе и зубрить конспекты, одновременно впитывая телом загар.

Питерцы, имеющие свои квартиры, завидовали нам, общежитским. Им было скучно в своих уставленных мебелью комнатах. Им было не с кем посоветоваться, если не получались решения сложных задач по сопромату или теормеху. В общежитии мы одолевали любое задание, всегда находился тот, кто соображал лучше и знал путь к решению. Я помню многих из моих питерских сокурсников, обладателей отдельных квартир, которые буквально дневали и ночевали в общежитии, таясь от бдительных комендантов и вахтеров.

Эти суровые и хмурые вахтеры постоянно сидели на первом этаже у лестницы. Были они в основном отставные офицеры, строго выполнявшие поставленные перед ними задачи — не пускать. Провести, минуя их, девицу было почти невозможно. Надо было заранее выписывать пропуск, брать разрешение у коменданта, затем девица должна была оставить на вахте документ, которого зачастую у нее не было. А если и был — оставлять его не имело смысла. Оставленный документ связывал ей руки, она должна была покинуть общежитие до одиннадцати вечера, то есть в самый разгар танцевального веселья. Поэтому старые и умудренные опытом общежитские обитатели никогда не пользовались главным входом. Было множество других дверей, которые, правда, запирались, но ведь к любому замку всегда можно подобрать ключ. Был еще потайной вход через подвалы. И еще более простой вариант — через окна первого этажа. Им пользовались все мы, если возвращались ночью. Главный вход закрывался в час ночи, и, добравшись из центра до общежития, зачастую пешком, глупо было устраиваться на ночлег во дворе. Через окна затаскивали и девиц. Через окна они покидали нас по утрам. Можно было проделывать это на первом этаже, но не исключались и пути

с других этажей, для этого связывались простыни, и по ним карабкались они, как матросы по вантам. Таким способом пользовались наиболее бойкие девицы. Помню, как одна из них, очевидно после размолвки, среди бела дня, почти голая, скользнула вниз. Вслед за ней в узелке на простынях спустили ее одежду. Вахтер, шествующий на смену, заметил это. Узелок бросился в глаза. Это был непорядок. И он, задрав голову вверх, закричал: «Где пропуск на вынос вещей?» На вынос вещей нужно было разрешение коменданта, исполнительный вахтер не понимал, почему над ним смеются.

И несмотря на все эти вахты, несмотря на различные рейды дружинников, врывавшихся в комнаты в самый неподходящий момент, несмотря на частые проверки санитарной комиссии, — общежитие было моей желанной обителью в течение всех шести лет учебы.

Я возвращался в его стены и в холодные зимние ночи, когда уже не ходили трамваи и надо было топтать через весь город по скользким мостовым, и весной, когда царили над городом белые ночи, и в их отстраненном таинственном свете синие тени домов смотрелись в темные воды каналов, и осенью, в сплошную слякоть, когда вода чавкала в растоптанных старых туфлях... И всегда, в любое время суток — я знал: меня ждет моя комната, моя привычная койка, тепло, и спокойствие, и сон рядом с двадцатью такими же, как я, однокурсниками.

Поиски любви и наслаждений забрасывали нас в самые дальние концы огромного города, но были и те, кто находил свою любовь в самом общежитии, ибо был там пятый этаж — женский. Корабелка не женский институт, и все же студенток набралось на целый этаж. Это были в основном девицы, занимающиеся на экономическом факультете, да еще и иностранки, в то время у нас в институте много училось парней и девушек из Польши, Чехии и еще больше из Китая и Вьетнама. Связи с ними, правда, были опасны. Но нет преград для любви, и в конце учебы почти все иностранные девушки обрели себе партнеров и правдами и неправдами добились разрешений на создание семей. Хотя для этого пришлось не только в конце романа преодолеть чиновничьи барьеры, но и в начале своей любви испытать участь скрывающихся борцов сопротивления. Охранялись иностранки и комендантом, и патрулями, и дружинниками, и собственными сексотами из шибко партийных. Но нету преград для любви...

Да что говорить об иностранках, когда и собственные российские наши сокурсницы-невесты тоже были под двойной охраной. К ним на этаж не каждый мог войти, а только по вызову, заверенному комендантом. Но разве это препятствие, они сами спускались к нам, а потом вели к себе по черному неохраняемому входу.

В женских комнатах общежития был совсем иной мир, иной порядок, иной обволакивающий тебя дурманящий запах, идеальная чистота, так тогда казалось, ибо не было с чем сравнивать. Там, в их комнатах, всегда были аккуратно заправлены кровати, лежали на чистых простынях вышитые бисером подушечки, на столах были скатерти, а тумбочки были застелены белоснежными салфетками. Все это пленяло и завораживало. Но самым притягательным были обитательницы этих комнат, в домашних халатах, такие близкие, такие доступные — стоит протянуть руку, положить на теплое вздрагивающее колено, потянуться губами... И не надо шляться где попало по ночам, не надо отыскивать случайных подруг в ресторанах и на танцах в клубах...

Были в общежитии еще одни очень приметные помещения — на каждом этаже имелся красный уголок, снабженный небольшой библиотекой и рядами длинных столов, места за которыми надо было занимать с самого утра, а то и с ночи. Сюда уходили из своих комнат отличники, чтобы решать сложные задачи и запоминать длинные формулы, вникнуть в которые невозможно в своей комнате, где кто-то поет песню, а кто-то делает гимнастику, где травят анекдоты и рассказывают о своих любовных приключениях, и в подтверждение этих приключений еще и приводят девиц — геро-

инь своих рассказов — и даже умудряются оставить их на ночь... Попробуй в такой обстановке хорошо подготовиться к зачету. И вот тебе в удел — красный уголок, где столы в основном заняты трудолюбивыми китайцами. Но иногда и здесь отличнику не удается уйти в мир формул, попробуй сосредоточься, если рядом сидит студентка в короткой юбке, и взгляд не может оторваться от стройных ног, более манящих и более загадочных, чем все биномы Ньютона, вместе взятые. Еще помнится, что в этих красных уголках-читальнях были большие настольные зеленые лампы, свет которых не настраивал на учебу, зато очень быстро усыплял даже трудолюбивых китайцев.

И еще в этих читальнях постоянно играли в шахматы, иногда казалось, что все общежитие превращается в шахматную Мекку, щелканье часов, стуки опускаемых на доску фигур, гортанные вскрики победителей, будто утрачены все слова и обретен некий праязык, выражающий только чувства шахматного игрока. Сидели на подоконниках, играли даже на полу, занимали в комнатах пустующие кровати, и даже девичьи были втянуты в эту игровую вакханалию. Обычно шахматная лихорадка охватывала общежитие зимой и к весне постепенно стихала. Ибо весной даже самый заядлый шахматный игрок поддавался иным соблазнам, да и кто мог выдержать сидение за доской и пробежки с деревянной королевой по нарисованным полям, когда рядом бродили тонконогие и глазастые королевы, ходящие без всяких правил и неотвратимо влекущие в таинства любовных утех. Распаленное воображение игроков уже не могло трезво рассчитывать ходы и предугадывать сложные пешечные концовки. Самые интересные игры преподносила жизнь.

А к концу весны общежитие замирало — наступали дни экзаменационного суда, и за месяцы веселья и любовных утех, за все прогулянные ночи приходилось держать ответ, и чтобы не оставаться без стипендии, а ее в те времена давали только тем, кто не имел троек, все обитатели веселого дома, затаившись в своих комнатах, в красных уголках, в подвалах, насыщали мозги утомительными и многослойными формулами, запоминая их почти наизусть, чтобы тотчас забыть, выходя от экзаменатора.

Сегодня борцы за улучшение быта заключенных возмущаются тем, что в некоторых тюрьмах не выдерживаются санитарные нормы и на человека приходится менее трех квадратных метров. В моем студенческом общежитии мы тогда не думали о нормах, могу, конечно, подсчитать: комната наша была метров сорок квадратных, было нас там двадцать человек — какие уж тут нормы! А нам хватало!

Мы попали в общежитие не из отдельных квартир, а из землянок, бараков и в лучшем случае из коммуналок, мы были дети своего времени, с малых лет приученные к общему жилью, с малых лет уверенные в том, что человеку вовсе не обязательно иметь свою комнату, что самое главное — это иметь свою койку или, как говорил наш комендант, койко-место. Зато платили за это койко-место чисто символическую плату — два рубля пятьдесят копеек в месяц, однако и здесь было полно задолжников, многие умудрялись не платить по году, а потом не могли осилить накопившуюся сумму, и таким общежитским зайцам приходилось все время менять свои койко-места, чтобы скрыться от бдительного ока коменданта и его дружинников.

Были в общежитии и другие общие для всех места — кухни. Эти огромные, заполненные пряными запахами и паром помещения размещались на каждом этаже, там варили себе пропитание в основном те, кто жил коммунарами и у кого хватало денег только на макароны. Там же постоянно обитал кто-либо из китайцев; котел, в котором он варил супы для всего своего землячества, изрыгал такие ароматы, что впору было надевать противогазы. Кухня не была моей стихией, и я там появлялся весьма редко. Чайник и тот кипятил в комнате, сунув туда выдавшую виды спираль. Кухни были рассадником скандалов. Вечно там что-нибудь пропадало, и однажды, когда машфаковцы украли жареного гуся у корабелов, случилась самая кровавая драка в истории

нашего весьма мирного общежития. Будь моя воля, я бы закрыл эти кухни. Но с другой стороны, они были, как я сейчас понимаю, полезной школой, ибо не только научали что-либо варить для себя, но и приготавливали к предстоящей жизни. Никого из нас не ждала отдельная квартира, и коммунальные кухни стали для моего поколения местом зарождения нашего братства — плеяды шестидесятников, витийствующих там, где их не могли расслышать. Шипение жарящихся котлет и картошки, биение пара в скороварке, шум воды, вытекающей из крана, были лучшей защитой против любых подслушивающих устройств. Но все это пришло немного позже. А пока, в общежитии, было хорошо тем, что таиться не приходилось, каждый открыто заявлял о своем, все кричали одновременно — и постороннему трудно было понять, в чем заключена крамола. К тому же это были годы первой «оттепели», и все были уверены, что времена культа канули в Лету — и вот теперь в стране свобода и полная демократия. И мы принесем мир всем странам. И вообще, скоро все народы в мире заживут единым человеческим общежитием, как сказал обожаемый в те годы поэт, считавшийся талантливейшим, так как из эпохи были изъяты все другие, о которых мы почти ничего не знали.

К тому времени я уже начал писать рассказы, и таинственный мир литературы заслонял сухость формул и уравнений. Я стремился остаться в комнате один — читать или писать, случалось это крайне редко и было для меня небывалым наслаждением. Так, человек общежития, я впервые познавал, как необходимо иногда пребывание наедине со своими мыслями, как это упоительно жить своей жизнью, а не жизнью окружающих.

Литература все сильнее заманивала меня в свои цепкие сети. Мы с Толяном стали издавать студенческий журнал, ходили в литературные объединения, не пропускали почти ни одной дискуссии, что тогда бурно велись в клубе Пятилетки и в Доме учителя. Там, словно очнувшиеся от летаргического сна, очарованные свободой, витийствовали искусствоведы, ниспровергавшие соцреализм. Со всеми вместе мы кричали: долой! Мы яростно топали ногами и рвались к трибуне. Нам не давали слова, нас, студентов, даже не хотели пропускать в бурлящие страстями залы. Толпу, состоящую в основном из студентов и штурмующую вход, в один из дней пытались разогнать мощными струями брандсбойтов вызванные милицией пожарные. Но нас все равно было не остановить...

Но как же кратко было это время свободы, прерванное венгерскими событиями...

Нас с Толяном вызвали в деканат, рядом с испуганным деканом сидел узколицый человек в форме. Он говорил тихо, он ни разу не повысил голоса, но по тому, как краснел и вздрагивал наш декан, мы поняли, что человек этот обладает неограниченной властью. «Вы приняты в технический престижный вуз, — сказал он, — вас три года уже учат, на вас затрачены огромные государственные средства. Если вы не прекратите выпуск своего журнала, вам придется расстаться с общежитием, вы дурно влияете на своих сокурсников. Общежитие не место для словоблудия! Вы все поняли?»

Так мы едва не расстались со студенческой жизнью, едва не утратили свой общежитский рай. Я поначалу не хотел прекращать выпуск журнала. Толян сказал мне:

— Тебе хорошо, ты не знаешь, что такое лагерь и ссылки! Если тебя выселят из общежития, ты можешь пойти к Пановой, а куда денусь я?

Он был не прав, к Вере Федоровне Пановой я ходил всего несколько раз и искать приюта у нее не решился бы. Известной советской писательнице пришлось по душе мои первые рассказы, которые ей передал ее муж — кумир молодых писателей Давид Яковлевич Дар, руководивший молодежным литературным объединением. В ее просторной пятикомнатной квартире, окна которой выходили на Марсово поле, я впервые увидел кабинет писателя. Особенно меня поразили огромный письменный стол и специальное кресло на винтах. На столе были аккуратно сложены стопки рукописей

и стояла посередине заграничная пишущая машинка. Видя, как зачарованно я гляжу на все это, Вера Федоровна сказала, растягивая слова и преодолевая мучившую ее одышку: «Будет со временем и у вас такой кабинет, все будет. Но знаете, это не всегда помогает, свои лучшие вещи я написала, когда работала на телеграфе, прямо на работе под непрестанный шум и писк морзянки... Дело не в условиях... Все у вас скоро будет!»

Пророчества ее почти сбылись, правда, не так скоро, а в те годы вообще казались несбыточными. Снова вернулось время запретов, и мне пришлось согласиться с Толяном. Потеря места в общежитии была весьма тяжелой угрозой, к тому же подступило время написания дипломов, и сложные расчеты конструкции корпуса и его остойчивости заслонили и отменили все литературные баталии.

После окончания института мое общежитское существование было продолжено в полуразрушенном городе на принадлежащей теперь нам земле Восточной Пруссии. И опять я очутился в комнате, населенной десятком человек, причем люди эти были далеки от меня и по своим делам, и по своим интересам. Единственной отрадой оставалось то, что вместе со мною в эту комнату был поселен Толян, мой институтский друг, увлеченный литературой и живописью. В этой комнате, пропахшей потом и алкоголем, мы поначалу держались особняком, а потом мой друг попал в страшную зависимость от бутылки, и я ничего не мог поделать с ним. Он тихо спивался.

Общежитие это было расположено в огромном доме, выкрашенном ярко-зеленой краской, и потому носило название — Зеленый дом. Принадлежало оно огромному судостроительному заводу, куда меня и Толяна направили по распределению. Завод и стал мне домом в этот первый год моей инженерной карьеры.

Я был назначен докмейстером и получил в распоряжение док — плавучее сооружение из бетона, в которое вводили корабли, чтобы поднять их из воды, почистить и покрасить борта и днище, отремонтировать рули, винты и все, что в обычном их состоянии скрывается под водой. В левой башне этого дока, если смотреть с пирса, были расположены каюты для команды, и среди них самая большая каюта стала принадлежать мне. Там я часто ночевал после постановок кораблей — докований, которые обычно затягивались до глубокой ночи.

Каюта стала первым в моей жизни отдельным кабинетом. Так как работа моя часто продолжалась ночами, днем никто не упрекал меня, если я не отвечал на звонки или запирал дверь каюты. Я имел право на отдых. Корабль, вставший на доковые клетки, становился добычей чистильщиков и маляров. Я плотно завинчивал иллюминатор, чтобы шум воздушных турбинок не проникал в мое бетонное убежище, включал лопаухий вентилятор, разгонявший спертый воздух, раскладывал на письменном столе белые листы бумаги и уходил в выдуманные миры. Со временем я заполнил деревянные стеллажи книгами, купил шахматы и считал, что в жизни нет человека счастливее меня. С грохотом двигались над моей головой доковые краны, шумел прорвавший прохудившиеся шланги пар, плескались волны о деревянный кринолин дока, трещали тросы, которыми стягивали прикипевшие к втулкам винты, — я старался ничего этого не слышать. Юркие судовые тараканы с любопытством смотрели на выбегающие из шариковой ручки несъедобные строки и по-гвардейски топорщили усы. С ними тщательно и бесполезно боролись все мои предшественники, я тоже, каюсь, пытался их извести и даже вызывал бригаду женщин из эпидемиостанции. Они истратили два мешка дуста. Некоторое время в каюте тараканы не появлялись. Но они не погибли и не исчезли, у них просто произошло временное переселение. Буквально через неделю после тараканьей экзекуции я по узкому трапу спустился в машинное отделение, чтобы проверить работу отливных насосов, и увидел, что изоляция на трубах из серой превратилась в коричневую и вся колыхается. Это были мои сожители-тараканы. Вскоре,

осознав, что им уже ничего не угрожает, они опять распозлись по каютам. Они мне нисколько не мешали. Я готов был разделить с ними свой плавучий кабинет. Мне вообще тогда не нужно было никакого иного жилья. Заводское общежитие отличалось от студенческого не в лучшую сторону. Толян, ставший начальником на корпусном участке, не просыхал. Я не знаю уж, как он там справлялся со своими бригадами. Иногда он заходил ко мне на док в поисках похмельной чарки, спирт у меня был всегда. Я оставлял Толяна в каюте, укладывал его на своем диване, накрывал плащом, давал ему возможность выспаться. Заходил ко мне и староста наш, его тоже распределили на этот завод в исследовательский сектор. В своей обычной манере он читал нотации. «Вот, — говорил он, — ты почти живешь в своей каюте, может быть, в жизни у тебя не будет столь просторной площади никогда, это твой дом, смотри, и диван есть широкий. И умывальник, и душ, и приемник, и книги — но какой бардак! Давно надо постирать шторы, установить нормальную вешалку, а то какие-то гвозди торчат. Нет, так ты и остался общежитским человеком. Никогда не поймешь ты, что такое уют!»

Он был прав, ни от кого бы я не стал выслушивать таких слов, но ему я был многим обязан, я ведь ни разу не был лишен стипендии за непосещение лекций. Да и наглядно он мне показал — насколько он прав. К тому времени мы оба женились. Но у меня жена доучивалась в Ленинграде, а его жена приехала вместе с ним. И родители у нее были из больших партийных деятелей, так что снабжали молодых деньгами. Так вот — никогда бы до такого не додумался, но староста наш решил построить дом, а пока снимал квартиру. И вот в этой квартире я и понял, что мне такой никогда не займет. Такая была там чистота, такая стерильность, что, даже сняв ботинки, я боялся оставить следы на блестящем паркетном полу. Можно было представить, что будет, когда он выстроит свой дом и как он его обставит. Дом он строил долго, сначала он соорудил дачу, тренировался на более легкой постройке. И собственность погубила его.

Это была первая утрата в череде потерь, которые приносят годы, страшно даже вспоминать обо всем этом. Он пришел на дачу, увидел, что там сидят какие-то алкаши и играют в карты, он был парень не робкого десятка — изругал их, вышвырнул из дома, наверное, потом все тщательно убрал, починил замок, который они сломали, а ночью эти подонки вернулись, подперли кольями двери снаружи и подожгли дом...

Мы с Толяном тщетно пытались разыскать убийц. Следователь с прыщеватым лицом и уставшими глазами жаждал нас утихомирить. Он говорил, что это не первый случай, что там, где не хотят знать, что такое частная собственность, всегда так происходит. Мы не слушали его. Мы не понимали, что такое частная собственность. И будь она проклята, если из-за нее мы лишились друга...

И все же пришлось думать, где обрести эту частную собственность, пусть не квартиру, но хотя бы свой угол. К тому времени мне надо было срочно решать — где жить. Жена окончила институт, родила сына — и не мог же я привести ее в доковую каюту. С трудом я устроил ее в гостиницу. Сына временно мы отвезли теще.

Завод при приеме на работу обязывался обеспечить меня квартирой, но прошло уже больше года, и никто из заводского начальства и слушать ничего не хотел. Недовольных молодых специалистов собрали в конференц-зале, и главный инженер, нацепив на грудь, сливающуюся с огромным животом, десятки своих медалей, зычным, хорошо поставленным басом прочел нам мораль о подвиге и славе. «Мы, — сказал он, — трудились на стройках первых пятилеток, мы создавали заводы в тайге, и никогда даже в мыслях наших не было — требовать квартиру. Мы жили в шалахах и землянках. Нас согревали наш энтузиазм и наша сознательность! А вам все подавай на блюдецке! Нет, с такими мы никогда не построим коммунизм!» Мы разошлись пристыженные, а утром жена в гостинице долго плакала и решила уехать из этого города.

Потом все, конечно, разрешилось и все устроилось. Но немало нам пришлось поскитаться в поисках крыши над головой. Жили мы одно время в такой комнате, которую и комнатой назвать нельзя: не было там ни окон, ни дверей, и сырость была такая, какой и в землянке я не видел. Потом, хоть и ненадолго, хлебнули мы прелестей коммуналки — и наконец, когда совсем отчаялись и я готов был уехать, пришли на выручку мне мои доковские рабочие. Оказалось, что за тот первый год, в который я на заводе проработал с ними, успели они ко мне привязаться — и другого докмейстера не желали. К тому же и обстоятельства так сложились, что смогли мои доковики все решить в одночасье. Мой доковский помощник — ветеран завода, участник войны — получил квартиру с удобствами в центре города, а в его освободившуюся, не дожидаясь решений жилищных комиссий, привезли мои рабочие меня с женой и малым сынишкой. Подивились, что у нас даже кровати своей нет, приволокли металлическую койку с пружинами, два потрепанных стула поставили в пустые комнаты, и еще оставил мне мой помощник топор. И сказал: «Никого и на порог не пускай! Попыхтят, попыхтят, мать их ити, и сами в зубах ордер принесут!»

Так стал я, почти первым из наших выпускников, обладателем двухкомнатной квартиры. Ордер я на нее, правда, получил только через год, но разве в бумажке дело! Равно мне показалось место, где был расположен дом. Шпандинн называлось оно у немцев, а у нас говорили — рабочий поселок или Шпандинная. Квартира, дарованная мне, была на первом этаже старого немецкого дома, за окнами росли вишневые деревья, по утрам звонко перекликались птицы, в промежутке между листвой виднелись доковские краны, а между ними и домом было большое ровное поле, по которому добежать до завода можно было за десять минут. Летом и весной жили мы в ладу с цветущей за окнами природой, а в осенние и зимние вечера топили две печки, облицованные кафелем, и грелись, прислонясь к их теплым и гладким бокам. Приходилось, конечно, возиться и с углем, и с дровами, не было ни ванны, ни душа — но все это тогда казалось такими мелочами, на которые не стоит обращать внимания.

В то время появились в печати первые мои рассказы, и я сдружился с молодыми поэтами, жаждущими, как говорил один из местных литературных мэтров, выпить и стих напечатать. Все они были бездомные, общежитские люди — и моя квартира стала местом сборищ и поэтических баталий. Изоляция в комнатах была сделана на совесть, да и жили вокруг не какие-нибудь сексоты и чинуши, а наши заводские парни, так что могли все собиравшиеся у меня произносить, не опасаясь, самые крамольные речи и кричать во всю силу своих легких — никому до нас не было дела. Трамваи тогда до завода не ходили, автобусы ездили очень редко, гости наши засиживались за полночь, и приходилось укладывать их на полу, постелив на него все имеющиеся у нас одежды. По утрам всех будил наш малыш, он тряс сетку своей самодельной кровати и возвещал, что магазин уже открылся. Походы моих друзей за бутылкой были и для него весьма желанны, потому что редко кто из них забывал дополнительно к бутылке купить и шоколадку. Долгие застольные разговоры на кухне утомляли меня, я ведь в отличие от молодых поэтов, пробавляющихся случайными заработками, стабильно работал в доках, а потому — если это был будний день, — я засыпал в уголке у печки под ритмичное мычание стихотворцев. Не знаю, как все это выдерживала жена, но виду она не подавала и всех старалась приветить. Мало того, что они приходили сами, они притаскивали в дом и своих очередных пассий, и еще регулярно выискивали какую-нибудь знаменитость: заезжего гостя из столицы, художников из Литвы, бродячих музыкантов из Полесья и даже больших литературных мэтров, изредка посещавших наш город. Кто только не перебивал в этом доме на Шпандинне! На полу у нас не раз ночевали и знаменитый морской поэт, первое стихотворение которого напечатал еще до войны сам Маяковский, и будущий автор многочис-

ленных детективных романов, уже в те годы обладавший непомерно большим животом и невероятным апломбом, и непросыхающий московский поэт — секретарь правления писательского, известный тем, что приехал на одно из заседаний этого правления на зебре, а на замечание начальника своего, автора гимна и создателя дяди Степы, что, мол, ты не мог найти другой транспорт, ответил: я думал, что это такси. О каждом из тех моих гостей можно рассказать много легенд, как связанных с моим домом, так и свершенных вдали от него.

Были у меня трое друзей, которые чаще других и дневали и ночевали в доме на Шпандинне. Рыжеволосый и несмолкающий атлет, забросивший спорт, лидер тогдашней диссидентствующей братии заполнял пространство моей квартиры звонкими чеканными стихами. Все свои стихи и стихи своих коллег он знал наизусть. Крамольные его речи заставляли вздрагивать и оглядываться даже тех, кого он считал своими единомышленниками. Он разил несогласных с ним не только словом, он мог запросто оторвать от пола очередного поэта, приподнять его на вытянутой руке на высоту своего двухметрового роста и раскрутить под потолком. Его стихи печатались в центральных журналах, он прошел ленинградскую школу и любил поучать других. Прозвище у него было — Корней. Помню, когда умер Чуковский, и мы выпили за помин души человека, скрасившего наше детство мухой-цокотухой, этот мой друг горестно произнес: «Один Корней я теперь остался!»

Он мало кого признавал из живущих поэтов, не говоря уже о местных мэтрах. Исключение он делал только для меня, незаслуженно восхваляя мои первые рассказы, и для другого моего друга — тоже поэта. Поэт тот был много тоньше и значительно ниже ростом, чем Корней. И Корней опекал его. Тщедушный, похожий на нахохлившую птичку, поэт этот для солидности отрастил большие усы, но даже эти усы не могли перевести его из разряда начинающих поэтов в разряд узаконенных. Побывавший в нашем городе любимый нами поэт Борис Слуцкий написал стихи о нашем поэте, где были такие строчки: «Вот чужие стихи поучишь и билет, конечно, получишь». Предсказание это сбылось не очень скоро. Да и не рвались мы тогда ни в какие писательские союзы, понимали всю их ложь и плебейство. Усатый поэт пил в то время не просыхая. Приходил пьяный в дом на Шпандинне по ночам. Садился у нашей кровати и клял свою жизнь и успокаивался только тогда, когда я или жена гладили ему уши. Потом когда поэт стал ходить в море, его возвращения после дальних рейсов содрогали наш дом песнями и не прекращающимися плясками. В первые недели после своего прихода из морей поэт приезжал на Шпандинную только на такси, когда деньги кончались, всегда выискивал странных попутчиков или шоферов, которые, сжалившись над пьяным, бормочущим складные стихи, привозили его в наш дом по ночам. Однажды он подъехал на мусоровозке и даже уговорил мрачного бородатого шофера этой пахнущей дерьмом машины довезти нас до Москвы. Мы распили бутылку, и я стал собирать чемодан. Но поэт с шофером слишком громко пели. Проснулась жена и расстроила наши блестящие планы. В больших дозах этого поэта трудно было выносить. Выручало то, что он надолго уходил в свои рыбацкие рейсы...

Третий мой друг тоже писал стихи, в которых он, и дня не проживший без бутылки, обличал людей, склонных к алкоголю. «У витрины магазина „Соки, воды и напитки“ спит мужчина, спит мужчина, спит мужчина, как убитый», — декламировали мы хором его незатейливые вирши. Был он вовсе не поэтом, а мастером короткого рассказа. Это поняли все позднее. А тогда его рассказы никто не хотел печатать. Это были страшные свидетельства узника Маутхаузена. У редакторов и цензурных церберов они вызывали мелкую дрожь. Ведь у читателя могли, по их мнению, возникнуть аллюзии со сталинскими лагерями, к тому же ни в одном из рассказов не была показана роль коммунистов в концлагере и те восстания, которые они готовили. Он сумел вы-

жить в концлагерном аду, во-первых, потому что был боксером, а во-вторых, благодаря шахматам. В лагерном турнире он занял второе место и был освобожден от работы в каменоломнях, где даже бывшие боксеры не выдерживали и нескольких дней.

Так сошлось, что все мы четверо были в прошлом заядлые шахматисты. И вот каждую новогоднюю ночь мы устраивали в доме на Шпандинной «Гастингский турнир». Самым азартным игроком был Корней, он радовался победе, как ребенок, а если проигрывал — наливался кровью, сопел, перехаживал, обрушивался с едкими нападками на противника. Так что легче было ему проиграть, чем выдержать все это и довести до своей победы партию. Особо тратить нервы никто не хотел. Поэт-моряк вообще быстро уставал от игры и, склонив к доске свой длинный, неоднократно переломанный нос, мог заснуть, не дождавшись ответного хода соперника. Бывший боксер играл стремительно, с силой шлепал фигурами по доске. Каждый свой удачный ход сопровождал рюмкой водки, а после победы отплясывал джигу, используя шахматную доску вместо барабана. И я всякий раз мысленно благодарил немцев, построивших в рабочем поселке дома с очень толстыми стенами...

И все же время подтачивало и самые толстые стены. Потолок наш почернел от курева, полы поизносились от плясок, на стенах отклеивались обои, — и стало видно, что мелкие трещины расползаются по ним во все стороны. Надо было делать ремонт. В те годы что-либо купить в магазинах было почти невозможно. Даже слова такого купить не употребляли — говорили: достать. Достать гвозди, достать краску, достать шпаклевку — на все это надо было потратить не меньше месяца, заранее заготавливая все необходимое для ремонта. Конечно, для меня проблема могла решиться много проще. Я мог бы, как и все рабочие нашего завода, позаимствовать все что угодно с его территории. Все так и делали, несмотря на строгость охранников и заборы с колючей проволокой, ограждавшие завод. И была даже поговорка: «Что нельзя вынести, то можно вывезти». Тем более можно было использовать то обстоятельство, что я имел право давать разрешение на вывоз мусора, постоянно скапливающегося на палубах доков. В этот мусор и засовывали рабочие все, что надо было им для домашних ремонтов. Был и другой путь — в моем распоряжении были доковые буксиры, на которых вывозили не только доски и краску, но даже и готовую мебель. Но дело в том, что я был всегда противником воровства и сам строго следил за тем, чтобы мои рабочие не растаскивали то, что приготовлено не для ремонта их домов, а для постройки кораблей. Поэтому мне пришлось долго искать и краску, и цемент, и асбест, и другие материалы, прежде чем я смог приступить к ремонту. Покупал я это все тут же в рабочем поселке у рабочих нашего завода, так что, как ни крутись, я все же содействовал невольному расхищению заводских материалов.

Банку белил я купил у доковского кочевара Слюстюка, который продал ее мне за почти символическую цену в благодарность за то, что когда-то я сжалился над ним и не выгнал с работы как раз за белила. Он пытался вынести через проходную несколько банок, да к тому же был пьян. Пришел рапорт, его требовали уволить. Но у него было четверо детей, и я заступился за него. Он дал слово, что больше никогда не покусится на заводскую собственность. Но что стоит слово, когда надо кормить четверых детей...

И вот когда все необходимые материалы были куплены, в одно из воскресений августа мы начали столь долго оттягиваемый ремонт. Корней явился к нам, когда мы закончили белить потолок и готовились клеить обои. Квартира наша не была в этот день готова для приема гостей. Весь наш немногочисленный скарб был собран в кучу и накрыт клеенкой, постели закрыты газетами, на полу валялись обрывки обоев, мы с женой были в фартуках, заляпанных известкой. На нашу беду, Корней не смутился

царящим вокруг хаосом, быстро переоделся, а вернее, разоблачился, оставшись в трусах и в майке, и ринулся помогать нам. Мы обрадовались и попросили его поддерживать полосу обоев сверху, ему для этого не надо было вставать на табурет. И только мы примерились к стене, только приложили намазанный клеєм кусок обоев, как Корней резко отстранился и, вместо того чтобы держать обои, бросил их на пол. «Ты что, Корней?» — удивленно спросил я. «А ты не видишь? — воскликнул он. — Разве на такую стену можно клеить обои? Поверхность надо подготовить! Ты видишь — трещина! Ее нельзя никак оставлять! Надо зашпаклевать! У тебя есть шпатель?» Возражать ему было бесполезно, к тому же он обладал не только поэтическим даром, о нем говорили еще и как о хорошем инженер-строителе. Ну что же, ему виднее, решили мы. Да и трещинка на стене действительно была, тонкая, как паутинка, но длинная, почти от потолка до пола. Шпателя у нас не нашлось. Корней вооружился топором, стамеской и ломиком и стал готовить трещину к замазке. Мне с женой он велел сделать раствор, подробно объяснив, в какой пропорции следует добавить цемент, сколько взять песка и воды, при этом он попросил достать особый белый цемент. И мы долго ходили по соседям в поисках этого цемента. Когда мы вернулись, квартира наша напоминала поле жарких сражений. Пыль столбом, осыпаящаяся штукатурка, и в этой известковой пыли обнаженный торс Корнея, усиленно колотящего в стену топором. Тонкая трещинка под его ударами превратилась в зияющую щель, сквозь которую врвался в комнату луч августовского солнца. Опоздай мы еще на немного, и дом рухнул бы. Мы в один голос стали кричать, пытаюсь остановить его прыть. Это было почти бесполезно. И все же нам удалось спасти дом. Вернее, не нам, а очередному нашему гостю. Это был тоже поэт. И он явился издалека. Пришел в наш город пешком из Одессы, где он был изгнан из Духовной семинарии. Как и подобает семинаристу, он весь оброс и теперь напоминал древнего пророка. Длинные волосы закрывали его спину, клочковатая борода была вздернута кверху. Корней, откинув в сторону топор, тотчас начал читать ему стихи. Бывший семинарист охал от восторга и прыгал вокруг Корнея. Потом и сам стал читать стихи. И так под ритм их виршей мы с женой замазали щель и стали клеить обои. Ремонт и чтение стихов продолжались до утра...

Разных гостей видал дом на Шпандинной. Были и такие, что задерживались надолго. И я немало справедливых и горьких упреков выслушал от жены. После одного из таких гостей я стал более осторожным. Это был мой давний товарищ, к пишущей братии он сам не относился, но литературу, как мне тогда казалось, любил искренне. В то время он ходил в море судовым механиком и после очередного рейса явился ко мне с небольшим чемоданчиком и рассказал грустную историю о том, как жена его, не выдержав длительного отсутствия, спуталась с его же товарищем. Устроив у себя дома скандал, он больше не мог там находиться, ему негде было ночевать. И мы сжалились над ним. Был он вовсе не похож на судового механика. Грузный, сонливый, с уже наметившимся животом, он никак не мог разместиться на раскладушке, которую мы одолжили у соседей. Всю ночь он ворочался и вздыхал. И, очевидно, отсыпался, когда мы уходили на работу. Отсыпался и много читал. Я заметил, что он почти все мои книги снимал с полок. Потом я стал замечать, что мои рукописи лежат не в том порядке, в котором я оставлял их. Это мне не очень нравилось, но выговаривать ему за это я не стал. Все, что не подлежало чтению чужих глаз, лежало у меня в доковой каюте, где, собственно, я и написал все мои тогдашние рассказы. И даже ту повесть о доках, которой впоследствии пришлось двенадцать лет ждать своего издания.

Прошла неделя, настала другая. Гость явно загостился. Намеки жены моей он не воспринимал. Но с другой стороны, ведь и помощь была от него немалая. Гулял он с нашим малышом. Отводил его в садик и забирал оттуда. Починил забор у наших окон. Так что терпели мы его.

Но в один из вечеров все раскрылось. Пришла жена мрачнее тучи. Губы поджала. С гостем нашим ни слова. А когда пошел он в магазин, сказала мне: «Видела я подружку его жены, представляешь — жена ждет не дождется его прихода из рейса, вся истосковалась, а этот подонок у нас на шее сидит!» Я попытался защитить гостя — мало ли что бывает, в каждом доме свои мыши, подруга может и не знать всего. Но не прошло и часа, как я понял, что не прав.

Когда вернулся наш гость с бутылкой, тотчас жена моя под каким-то предлогом покинула нас. Мы выпили. Я молча рассматривал его лицо, и чем больше я вглядывался в него, тем сильнее понимал, что человек этот несет в себе нечто дьявольское. Были у него белесые глаза, и губы кривила ехидная улыбка, и расселся он в нашем единственном кресле как хозяин. И пошел он в тот вечер ва-банк. «Мне нужна рукопись твоей повести о доках! Дай мне ее почитать!» — неожиданно сказал он. Я объяснил, что никому не даю незаконченных своих вещей, вот отработаю, напечатают, и тогда прочтет он. «Не напечатают, — сказал он, — пока не дам я заключения своего, не напечатают...» Глаза у меня расширились, весь я напрягся. Да кто ты такой, чтобы делать заключение! «Лучше это сделаю я», — сказал он и по-барски откинулся в кресле. «Да пошел ты к трепаной гавани, моряк липовый!» — не выдержал я. Он медленно встал, взял свой чемодан и уже у двери произнес с угрозой: «Тебе же будет хуже, я бы сделал по старой дружбе хорошее заключение! Жди других гостей! Они церемониться не будут! Они тебе весь дом перевернут!»

Угрозы его оказались напрасными. Никто не пришел, и обыскивать дом не стали. Я сам, дурачок, снес свою повесть в издательство. Признания хотел. Вот, думал, напечатают, и все обо мне заговорят. А издатели мои, верные церберы, сами эту рукопись куда нужно отнесли. И было там какое-то постановление — чтобы никогда меня не печатать за то, что поливаю я грязью рабочий класс и смеюсь над высокой ролью партии. Так что, может быть, зря не дал повесть почитать подосланному в мой дом «моряку-механику». Не хотел я никаких услуг от сексотов. И лучше уж явный враг, чем скрытый.

И решили мы быть не столь радушными и не давать случайным знакомым приюта под нашей крышей. Однако легко давать обеты, но трудно их исполнять. Не в Англии ведь живем. Это там: мой дом — моя крепость. А у нас любой к тебе входит, когда ему вздумается. Друзья стучат монетками в окно по ночам — впусти. Приходит сосед — скучно ему, с женой поругался. Приходят доковые рабочие: займи на бутылку. Звонят настойчиво в дверной звонок всякие проверяющие из жилищных контор: то показания счетчика надо сверить, то с постановлением новым ознакомить, то на субботник приглашают, то штрафом очередным грозят. Деревья все у дома пересчитали. Налог ввели за деревья. Застучали топоры в поселке — рубят яблони, груши, вишни. То сараи решили снести, то заборы убрать. Хорошо, что народ у нас инертный и строгость законов облегчена их неисполнением. Не стали мы деревья рубить, что мы — варвары. А через год — отмена этих глупых налогов. Мы сохранили свои вишни, а вокруг словно Мамай прошел — пеньки торчат. Потом новая напасть — стали расползаться по поселку слухи: будут наши дома на капитальный ремонт ставить, а нас в заводские бараки переселять. Дома-то старинные, неизвестно сколько лет в них прежние хозяева жили — с их немецкой аккуратностью, возможно, и полста лет, да и наши уже не один десяток. Стали мы готовиться к переезду, но миновала нас сия чаша, не выделили деньги на этот капитальный ремонт, оставили нас в покое. Правда, пришлось самим многие прохудившиеся трубы и стояки менять, ну к этому нам не привыкать.

Конечно, старые дома надо ремонтировать, надо все содержать в порядке. И весь город наш можно было восстановить, придать ему настоящий европейский вид. Но никого это не заботило. Сносились развалины, стиралось прошлое. Был взорван ко-

ролевский замок. Прочные стены и башни, уцелевшие в сорок четвертом году после августовских налетов английской авиации, осели и превратились в груды кирпича и камней — и не стало у города исторического своего центра. Добился тогдашний партийный бонза своего — уничтожил «гнездо фашизма». Зато приобрел город свой советский вид: возводились стандартные хрущевки, обвешивались плакатами, обещающими скорое построение коммунизма и рай в отдельно взятой стране.

Забегая несколько вперед, поведаю об одном примечательном госте из прошлого, вернее, даже не о госте, а о прежнем обитателе нашей квартиры. Случилось это уже в те годы, когда рухнул «железный занавес», и в городе нашем появились иностранные туристы. В основном это были немцы, родившиеся когда-то и жившие в нашем городе. По улицам зашуршали двухъярусные автобусы, зазвучала повсюду немецкая речь, и настала светлая пора для уличных мальчишек, получавших марки за любые старые черепки и даже осколки посуды, найденные в развалинах. Пора этого мирного немецкого пришествия называлась ностальгическим туризмом. Ухоженные молодящиеся старушки, поджарые, со вкусом одетые старики бродили по улицам, выискивая дома своего детства или места, где эти дома стояли. Это была их родина, их потерянный рай. И как нашим старикам коммунистам правление кавказского горца кажется не столь уже страшным, а, напротив, победительным, так и им, наверное, вспоминалось гитлерюгендовское детство не только как пора уничтожения, но и как годы постижения окружающего мира, годы веселых игр и скаутских походов. Конечно, им очень трудно было узнать свой город, свои улицы, они разворачивали старые карты и с немецкой педантичностью обмеряли шагами пространство, чтобы выйти к пустырю, где когда-то стоял их дом, или найти в парке культуры и отдыха, возведенном на месте городского кладбища, обломки могильных плит своих родовых захоронений. На лицах их нельзя было прочесть разочарования или горести, они приветливо всем улыбались, открывая ровные ряды искусственных зубов, и на все вопросы отвечали: «Зеер гут» — и даже по-русски это произносили: «Очен ест карашо!»

И вот в один из сентябрьских вечеров к нашему дому подкатила обтекаемая, как акула, длинная серебристая машина, из которой вышел долговязый лысый немец с ухоженной бородкой, на груди которого висели два фотоаппарата и видеокамера. Я наблюдал из окна, как он вышагивал вдоль покосившегося забора, как потом в течение минут десяти щелкал своим «Кодаком». А затем послышался осторожный стук в дверь. Звонок у нас в то время оборвали, и немец, очевидно, перед тем, как постучать, долго нажимал на бездействующую кнопку.

Когда он вошел и застыл на пороге, улыбка сползла с его лица и глаза его увлажнились. Я не сразу понял, с чем связано его явление в наш дом. В школе и в институте я учил немецкий язык. Учил, но так ничему и не научился. Уроки немецкого были почти необязательными, мы откровенно презирали «немку», пытавшуюся заставить нас произносить чуждые нам слова. Было послевоенное время, и слово «немец» еще не отделено было в нашем сознании от слова «фашист». У большей части класса отцы были убиты на войне, многие ученики сами испытали и голод, и бомбежки. В институте мы тоже игнорировали занятия, покупали газеты на немецком и русском языках, и по ним вполне спокойно сдавали «тысячи». И знали твердо: никогда в жизни нам чужой язык не пригодится, никто нас не пустит за границу, да и к нам тоже никого не пустят. И не мечтали мы даже, и не надеялись, что на наших глазах рухнет империя. И предскажи мне кто-нибудь раньше, что я буду запросто сидеть в своем доме за столом с немцем, я бы никогда не поверил. Но вот свершилось...

Откуда-то издалека, из глубины сознания пришли немецкие слова, я с трудом, но все же начал понимать странного гостя. Оказывается, он жил здесь, в этой квартире, и его фатер работал на Шихау верфи в доках, там, где сейчас работаю я, и что давно

уже нет отца, нет и старших братьев, он остался один из тех, кто помнит этот дом, и что всю жизнь он мечтал взглянуть на этот дом, на вишни под его окнами, на сарай с голубятней. Я постарался перевести весь его рассказ жене, и она сразу засуетилась, стала убирать одежду, раскиданную на стульях, сложила в стопку книги, разбросанные по столу, достала белую скатерть, чтобы закрыть поверхность стола, измазанную чернилами.

Мы усадили немца в единственное имевшееся у нас кресло, мы достали из холодильника все, что могли, к счастью, была у нас и бутылка водки. Немец вышел к машине и принес объемистый рюкзак, из которого стал вынимать различные баночки и коробки в яркой цветной упаковке, и их было так много, что места на столе не хватило. А потом он стал вышагивать по квартире, и то прислонялся к стене, то утыкался лбом в стекла, и все время вздыхал. И я увидел нашу квартиру его глазами. В одной комнате, условно спальне, стояла металлическая койка и около нее старая облупленная тумбочка, стопки книг и журналов служили стульями, в большой комнате — старый круглый стол, кресло с протертой обивкой и кровать сына, из которой он давно уже вырос, и потому к ней были приставлены два деревянных табурета. Довершал нашу обстановку старый телевизор с большой голубоватой линзой — наша гордость, подарок тещи. Телефона не было, душа и ванны тоже.

На кухне немец, которого, как я теперь узнал, звали Клаус Дитмар, показал мне отверстие в полу, оказывается, здесь был слив, и у них здесь стояла ванна, возможно, эту ванну сдали на металлолом те, кто жили здесь до нас. К чему ванна, если нет горячей воды. У них, у немцев, оказывается, и горячая вода была, стоял у печки бачок. Ну и конечно — чистота и порядок были, которые нам и не снились. Это я потом понял, когда стал выездным и побывал в немецких домах. Везде у них был «орднунг», везде они обосновывались обстоятельно. Мы же продолжали жить как временные общежитские жильцы.

Немец есть немец, он сумел скрыть свое минутное отчаяние и испуг от увиденного, слово «шреклик», то бишь ужасно, лишь однажды сорвалось с его тонких губ, полускрытых бородкой. За столом он беспрестанно нам улыбался и постоянно произносил свое любимое — зеер гут! Мы выпили по рюмке за встречу, потом помянули наших отцов, потом выпили за хозяйку дома, потом за мир и дружбу. Но, как говорится, что русскому здорово, то немцу смерть. Я поздно понял, что мой Клаус захмелел. Наверняка в своей Германии он никогда таких доз не принимал и сейчас не рассчитал свои силы. Язык его стал заплетаться, на лбу выступил бисер пота, лицо побледнело.

И случилось то, что я больше всего опасался: нагрянул Корней с двумя бутылками и, узнав, что перед ним настоящий немец, сразу ринулся в атаку. Корней был ранен в ногу, когда бомбили детский сад. Он засучил штаны и стал показывать свою голень, изуродованную ветвистым шрамом. Клаус понял все без слов, стал что-то бормотать о том, как ужасна была война, как убегали они по косе, ему было тогда восемь лет, было холодно и на нем было летнее пальто. Я с трудом успокоил их, налил Корнею полный стакан, чтобы он сравнялся с нами и перестал будоражить свои раны. Я тоже мог предъявить свой счет, большая часть моей родни была зверски убита под Стрельной, и я тоже испытал страх смерти, лежа под пулеметным огнем. Но все мы трое были детьми тогда, мы были потенциальными жертвами. И вытащили счастливый билет. Мы живы, мы сидим за столом и можем общаться. Обо всем этом я пытался говорить. Но запаса немецких слов мне не хватало. Я не испытывал вражды к Клаусу, напротив, даже какое-то ощущение вины закрадывалось в меня, вот мы сидим здесь, в его доме, мы изгнали его семью, мы лишили его родины. И в то же время — какая мизерная расплата за все. Как забыть, как сдержаться. Сумеет ли успокоиться Корней, не полезет ли с кулаками на гостя — от него всего можно ожидать.

Но опасения мои были напрасны, после двух стаканов началось братание, а после полуночи они уже пели хором: «Ах, мой бедный Августин...» К тому же оказалось, что Клаус любит стихи. И он стал читать вступление к Фаусту, а Корней то же вступление в переводе Пастернака. И сходилась ритм, и сходились рифмы, и смысл был один и тот же...

Немец так и заснул за столом, сидя в нашем единственном кресле, жена накрыла его ноги зимним пальто, Корней, по обыкновению, устроился на полу, а я еще долго не мог уснуть и забылся в чутком сне лишь под утро. И все-таки не очень чутко мой сон. Ибо когда утром мы умылись холодной водой и вышли покурить на улицу, мы увидели, что машина нашего гостя лишилась смотровых зеркал и дворников. Оставив Клауса, вздыхающего и охающего, повторяющего: «Кайне орднунг, кайне орднунг», мы с Корнеем бросились к поселковому магазину, где толпились местные алкаши в ожидании открытия. Мы кинули клич: нам позарез нужны зеркала и дворники на иномарку, мы готовы заплатить любую сумму. Через полчаса к нам привели Фирса, он работал когда-то у меня на доке, а теперь являл страшное зрелище: порванная куртка, здоровенный фиолетовый синяк под глазом, дрожащие руки. Фирс распахнул куртку и стал вытаскивать из-за пояса дворники и зеркала. «Прибью гада с одного удара!» — сказал Корней и сжал свои огромные кулаки. «Борисыч, — промычал Фирс, — да если бы я знал, что для тебя! Да я тебе сто дворников принес бы!» — «Ты гостя моего обидел», — сказал я. Фирс полез ко мне обниматься, Корней оттащил его.

Вскоре под взглядом изумленного немца мы прикручивали к его серебристой машине зеркала и устанавливали дворники...

Немец обнял нас, он благодарил, он говорил, что теперь обрел здесь, в России, настоящих друзей. И все же опять у него несколько раз прорвалось это его — «кайне орднунг». Корней понял без перевода. Протрезвевший, он уже был не столь миролюбив. «Переведи ему, — сказал он, — переведи ему, лысому черту, орднунг был в Освенциме, там все аккуратно складывали: и сбритые волосы, и зубные протезы, ничто не пропало!» Я не стал переводить Клаусу этих слов. А Клаус понял одно — Освенцим. «О, дас ист шреклик, дас ист шреклик!» — забормотал он, усаживаясь в машину. Еще он пообещал писать и присылать посылки. Обещание он свое сдержал. Мы стали друзьями. И еще через несколько лет я побывал у него в Любеке, в его доме, в его пятикомнатной квартире. Вот где был настоящий орднунг. У него — спальня, у жены — спальня, у него свой туалет и ванная, у жены — свой туалет и ванная, а кухня, где он нас принимал, была больше, чем вся моя квартира, вернее, чем вся его бывшая квартира. И была у него даже гостевая комната, и спал я там под почти невесомым, но очень теплым одеялом-пуховиком и вспоминал, как дремал мой Клаус на Шпандинной в кресле, укрытый старым зимним пальто. Утром блаженствовал я в огромной ванной и вдыхал неземные ароматы немецких шампуней. И такой был орднунг в доме, что казалось, здесь и не живет никто. А мебель была такая, что я даже у наших обкомовцев такой не видел. Все это было в начале перестройки, когда пусты были наши магазины. Теперь такую мебель можно увидеть в любом мебельном салоне, но тогда мне все было в диковинку... И дом у него был — его крепость, и было в нем тихо и уютно, и никакие гости к нему не являлись без предварительного на то его согласия, и ночью никто не стучал в окно, да и сам он редко ходил к другим, и когда захотел показать меня своему товарищу — тоже бывшему кёнигсбержцу, то долго и нудно договаривался: когда мы придем, что с собой принесем из еды, какую выпивку, сколько времени пробудем. И помнится, после того визита я сказал ему: «Скучно ты живешь, Клаус!» — «О, натюрлик, — воскликнул он, — на Шпандинной есть весело!» Он уже немного научился по-русски, часто вспоминал свое путешествие к нам, и то как он выпил за ночь целую бутылку, и как воры сами вернули и дворники, и зеркала.

И еще он восклицал: «Вундербар!» Что значит — удивительно. Да, наша жизнь может многих потрясти, но только не нас самих...

И не только в Германии увидел я дома, которые могут быть личной крепостью, а не временным пристанищем. Были и у нас в городе такие, а сейчас число их множится день ото дня. Но вернемся в те годы, когда их было не так много, вернемся в доперестроечное бытие. Настало тогда время, когда решил я переменить свою жизнь. Рассказы мои не печатали, завод, окруженный высокими заборами и колючей проволокой, утомлял меня, и я не без помощи одного своего друга, ставшего высокопоставленным чиновником, перебрался в рыбную промышленность. Мне страстно хотелось уйти в море, повидать другие страны, обрести свободу, избавиться от бдительного ока стукачей, не видеть тех, кто постоянно выкидывал меня из издательских планов. Но прежде чем выйти в море, мне пришлось долгое время проработать в рыбацких конторах, начальствовать над конструкторским бюро, даже стать помощником главного инженера по информации. Вот в этот период и попал под мое начало большой обкомовский босс, которого изгнали из красного здания неизвестно за какие провинности и который, как я знал из очень достоверных источников, был главным моим душителем. Но жизнь способна на любые повороты. И вот этот холеный, толстопузый властитель, а вернее, душитель всех газет, изданий и журналов, волею начальства был направлен ко мне, чтобы теперь исполнять мою волю. Он подобострастно мне улыбался, почтительно называл по имени и отчеству, и когда я входил в общий отдел, где для него поставили столик, немедленно вставал из-за этого столика, ел меня глазами и готов был беспрекословно выполнить любое приказание. Что-что, а субординацию в обкоме понимали. Такой работник — мед для начальства. Поначалу он опасался, что я буду мстить, и всячески старался мне угодить. Он даже зазвал меня к себе в гости. В обкомовский дом, в тот особый район в центре города, который народ называл «дворянским гнездом» и в котором в тени каштанов, под охраной милиции, светились таинственные окна тех, для кого коммунизм уже наступил.

В подъезде его дома милиционер почтительно отдал нам честь, и мы прошли по выложенной цветной плиткой площадке к лифту. Лифт мой подчиненный открыл своим ключом, в кабинке не было обычных хулиганских надписей, мотор мягко урчал, вознося нас на последний этаж. В квартире мы сразу попали в большой холл, который я принял за гостиную, все стены здесь были уставлены книжными полками, стояли мягкие кресла и журнальные столики, двери из этого помещения раздвинулись, когда хозяин квартиры нажал на кнопки, и мы очутились в большом зале, где у стен стояли книжные шкафы, а на стенах висели старинные картины, изображавшие псовую охоту. Ничто меня так не удивило, как книги, потолки еще были здесь необычные, слишком высокие, а потому у книжных шкафов стояли изящные лесенки, чтобы можно было добраться до верхних рядов томов в позолоченных переплетах. Чего здесь только не было — и старинные энциклопедии, и полные собрания сочинений, и даже Мандельштам, изданный в Штатах. Я обалдел от этого изобилия книг, не мог оторваться от них и плохо слушал, что говорил мне хозяин, сервировавший стол старинной фаянсовой посудой. Я не представлял, как можно было достать такое количество книг и таких книг! Я, правда, знал, что в обкоме распределяли весь дефицит, что там можно было заказывать любую книгу, поступающую в магазины. Но такой дефицит!

В те годы я был страстным книжником, я находил хитроумнейшие пути для получения нужного мне тома, я простаивал ночами в очереди перед книжными магазинами, меня знали все книжные продавщицы города. Но моя библиотека меркла перед сокровищами моего подчиненного. Меня притягивали старинные фолианты, я не мог догадаться — откуда они здесь. Я думал, что хозяин этих книг получил их в на-

следство от своих родителей. Потом он объяснил мне, что все это — трофеи. Он приехал в город сразу после войны, и тогда здесь в книгохранилищах бесхозно лежали не только немецкие книги, все здесь было. И старинные картины, которым цены нету, бесхозно висели на стенах полуразрушенных домов. Он даже сумел найти Брейгеля — подлинник! Все, как я понял из его рассказа, можно было спокойно брать. И если не ты, то возьмет другой. Никогда и ничему я не завидовал, но здесь, виноват, зависть подступила к самому моему горлу... «Берите, все что угодно берите, вы можете всегда пользоваться моей библиотекой», — сказал хозяин дома, перехватив мои восхищенные взгляды. В тот день я унес от него «Бесов» Достоевского, дореволюционное издание, и всю ночь читал мрачные истории гения.

Я бы мог еще долго пользоваться его библиотекой, если бы мне не пришлось уволить этого подобострастного и исполнительного чиновника. К сожалению, он попался не сразу. Сначала он выписал себе телефонный аппарат, обойдя меня, через начальника управления — аппарат этот он унес домой, потом у нас в печатном цехе стали исчезать фотопленки. Никто даже и подумать не мог, что этим занимается бывший обкомовский деятель, столь представительный и вальяжный. Ведь когда морские механики приходили в наш отдел впервые, то обращались к нему за разрешением своих проблем, видя в нем самого главного здесь. Потом один из таких механиков, очевидно желая продвинуть свое дело, принес обкомовцу ящик консервов. Я удивился, но не стал шуметь, и прозрел я только тогда, когда у нас исчезла кинокамера. Зачем ему все это было делать? — недоумевал я тогда. Ведь дома у него все было, чего ему еще не хватало? И только потом, уволив его с треском по статье, несмотря на звонки с самого верха, я осознал — это просто нажитая в обкоме привычка, обычная клептомания. Если рабочие уносили с завода краски и гвозди из-за нужды, из-за того, что их было негде купить, то этот деятель просто не мог не воровать...

В душе он, наверное, смеялся надо мной, рассказывал жене, потягивая цейлонский чай из фарфоровых чашек, какой у него глупый начальник. Действительно, быть начальником и жить в рабочем поселке, в старом немецком доме, без ванны, без телефона, без горячей воды, колоть после работы дрова и носить уголь для печки — ну не глупо ли это!

Если бы он еще знал, что и из этой квартиры меня хотят выселить! Его ведь когда изгнали из обкома, не лишили квартиры. А меня за то, что ушел с завода, решили выставить из дома на Шпандинной. Оказалось, что дом этот ведомственный. В те годы о приватизации квартир и слыхом никто не слыхал. Ушел с предприятия — отдай квартиру. Так закреплялись люди за одним заводом, всю жизнь работали там и ни о какой другой доле не помышляли.

Сначала мне пришла повестка из завкома, потом на завкоме меня долго уговаривали добровольно сдать квартиру и не доводить дело до суда, но я не поддался на их уговоры. И завели на меня дело в районном суде, и длилась эта судебная эпопея два года. Шеф нашей рыбной конторы опасался, что я сдамся и вернусь на завод, и в то же время квартиру с ходу он не мог мне выделить, нужно было время. И он обучил меня, как это время выиграть. Несколько раз я не являлся в суд. В дни, когда назначалось судебное разбирательство, шеф отправлял меня в командировки на судоремонтные заводы Таллина и Риги. Так мы выиграли год. Потом была зима — и в зимние месяцы никто не имел право выселить меня. Все это стало напоминать «Процесс» обожаемого мной писателя Франца Кафки. Помещение суда располагалось в полуразвалившемся старом доме, коридоры были забиты людьми, ждущими решения своей участи, полы заплеснаны семечками, воздух спертый — не продохнуть. Никто ничего толком не может объяснить. Все время требуются все новые и новые справки. Создаются пухлые тома по самому пустяковому делу. Решение суда никогда не является

окончательным — можно подавать апелляции во все мыслимые и немыслимые инстанции. Можно так запутать самое мелкое дело, что потребуются не один год, чтобы завершить его. С целью все запутать меня уговаривали нанять адвоката, даже знакомили с одним толстогубым и чрезмерно важным, который не проиграл ни одного дела. Но я решил сам защищать себя. На крайний случай у меня был запасен один крупный козырь. Цех наш доковый пару лет назад строил своими силами дом. Все мы после работы отработывали часы на стройке. И была у меня справка, что таких часов у меня набралось больше трехсот — а значит, завод был мне должен или оплатить их, или дать квартиру в этом доме. Квартиру я не получил, у меня была, но и деньги я тоже не получал.

Несколько раз меня вызывала судья, ведущая мое дело. Расползшаяся дебелая женщина смотрела на меня невидящим взглядом своих голубых, возможно, когда-то прекрасных глаз. Я думаю, у нее была большая и не очень счастливая семья. Она была зла на весь мир. Я ничего не сказал ей про справку. Она же нудным уставшим голосом читала мне морали: «Поймите, — говорила она, — вы же образованный человек, вы — советский инженер, дом принадлежит заводу, у завода не так много домов, если в этих домах будут жить люди, работающие на других предприятиях, завод разорится, ему же нужно содержать эти дома, вам не стоит артачиться, надо немедленно выехать и освободить жилплощадь, по всем законам вы на нее не имеете никакого права...» Я пытался возражать ей, говорил, что дом не может принадлежать заводу, что дом этот завод не строил, что я даже знаю человека, которому моя квартира принадлежала раньше, я объяснял, что как молодой специалист был направлен на завод по распределению — и мне обязаны были предоставить квартиру, что я ушел с завода не в какую-нибудь торговую лавочку, что я работаю в рыбной промышленности, для которой завод и строит суда... Она ничего не слышала. В глазах ее стояла такая тоска, будто не меня, а ее ждали и суд, и выселение...

Но все же как я ни тянул, а через год в солнечный майский день мне пришлось прийти в суд, ибо была угроза, что меня доставят туда при помощи милиции. Пришла в суд и моя жена. Мы долго сидели в коридоре среди таких же, как и мы, бедолаг, ждали, когда подойдет наша очередь. Маленькие окошки, немые, наверное, с послевоенных времен, почти не пропускали солнечный свет, было полутемно, со всех сторон вздыхали, охали, о чем-то тревожно шептали. И вся эта атмосфера томительного ожидания так подействовала на жену, что глаза ее еще до суда наполнились слезами, и я пожалел, что не уговорил ее остаться дома.

В комнате, где происходил суд, было еще более мрачно, чем в коридоре. Вместе с нами вошли туда и представители завода — иссохший старичок в кителе, увешанном орденами, и бойкая рыжая женщина из завкома, ведающая жильем. Вот они-то вместе с судьей дружно накинулись на меня. Обращались они с гневными речами и к народным заседателям, которые молча сидели за спиной судьи. Особо проявляла свою прыть рыжая женщина из завкома, она наседала грудью на судью, она размахивала руками. Она обвиняла меня во всех немыслимых грехах, она выражала крайнее удивление тем, что такому человеку, как мне, был доверен доковый цех, она говорила о том, как длинна очередь нуждающихся в жилье, и вспомнила о том, что квартиру я получил вне очереди и незаконно. Тут судья остановила ее, позвольте, сказала она, в деле имеется ордер, подписанный директором завода. Но рыжую трудно было успокоить. На смену ей пришел старичок, грозивший мне исключением из партии. Он взывал к справедливости советского суда и обещал, что не остановится и до конца обличит меня и дойдет до обкома, но добьется очищения партийных рядов от такого проходимца, который очернил заводскую жизнь в своих рассказах. «Это к делу не относится», — остановила его судья. А я не стал его просвещать в том, что к партии не имею никакого

отношения. Судья начинала мне нравиться, она отбивалась от моих обвинителей, как от назойливых осенних мух. Но сопротивление ее недолго длилось. Она тоже стала настаивать на моем выселении. И тогда заплакала моя жена, заплакала навзрыд — и мне с большим трудом удалось ее успокоить. «Что ты так разволновалась, — говорил я, — знаешь ведь народную мудрость: пока суд да дело...» — «Знаю, — вытирая слезы, сказала она, — и еще знаю: где суд, там и расправа...» Может быть, права она была, и понял я, что пора свои козыри употребить. Вынул я из кармана потрепанную справку о том, что я отработал часы на стройке цехового дома. Спокойно подошел к судейскому столу и положил эту драгоценную бумажку перед судьей. Она прочла и стала медленно наливать краской. Мои обвинители тоже потянулись к бумажке. И вибрируя отпрянули от стола, словно и не бумажка там лежала, а ядовитая гремучая змея. Все замерли, и в этой зловещей тишине судья заявила: «Суд откладывается до выяснения вновь возникших обстоятельств!»

Мы с женой вышли из сумрачного здания, вдохнули свежий воздух и улыбнулись разом. Вокруг цвела сирень, и воздух был упоительно свежим и вкусным. Мы словно вырвались из какого-то нереального мира в нормальную жизнь. Потом мне несколько раз звонили мои заводские обвинители и предлагали получить деньги за работу на постройке цехового дома — я отказывался. Был назначен новый суд. И тут подошло время моего первого рейса. И шеф сказал: «Можешь быть спокоен, возвратишься и получишь ключи от настоящей квартиры, с центральным отоплением, понял!»

О выходе в море я давно мечтал, я хотел вырваться на простор, дышать свободным морским воздухом, я хотел познать мир. Так на некоторое время обителю моей стал океан, квартирами — каюты на кораблях. И как сказал мой друг поэт: «И палуба была мне домом, моей страной, моей судьбой...» Какое это было счастливое время! В первый свой рейс я вышел механиком-наставником, в штатном расписании не предусмотренным, а потому и каюты для меня не было, и поместили меня в запасную каюту, размещенную в судовой трубе. Вот такой первый дом на водах. Неудобств я старался не замечать. А преимуществ было — хоть отбавляй! Трелили мы у берегов Исландии в марте—апреле, и было у меня в каюте всегда тепло. Но главное, что меня особо радовало — расположение каюты выше всех палуб. Стоило приоткрыть дверь — и моим глазам открывалось качающееся пространство вод и то взлетающая вверх, то опускающаяся промысловая палуба. Визжали тросы, втягивался через слип серебристый, туго набитый рыбой куток трала, пузырилась зеленая ячея. Я сбегал вниз — и поток бьющейся о палубу скумбрии несся мне навстречу. Весь свой восторг от первой встречи с морем я записывал в толстые тетради. И было так уютно писать за маленьким столиком по ночам, и такой полнотой всего сущего наполнялся я, когда выходил из каюты и смотрел на качающиеся в небе звезды, так было мне потом тепло в своей каюте, стены которой обогревались дымом, исторгаемым нутром нашего траулера, что и сейчас я понимаю — нигде мне так не писалось, как в том первом рейсе.

Потом было много других рейсов. И уже не простым механиком выходил я в море, а был среди тех, кто командовал и начальствовал не только над механиками, но и над капитанами. Состоял в так называемом штабе. И каюта была в моем распоряжении — на плавбазе. Отдельно — кабинет, отдельно — спальня с широченной кроватью, ванная — стены с голубым кафелем. И телефон был. В общем, на земле такой роскоши у меня не было и, наверное, никогда не будет. Но я, дурак, не пользовался благами, отпущенными мне судьбой.

В экспедицию входила не только плавбаза, порядка сорока малых и средних траулеров и судов-кошелькистов добывали рыбу и сдавали на плавбазу. Вот и носился я от одного судна к другому, хотел все увидеть своими глазами, а не командовать вслепую по радио. Возносился в сетках над качающимися палубами, спускался по шатким

трапам, даже перепрыгивал с борта на борт в штилевую погоду. И моим временным домом становились малые суда, где в лучшем случае я устраивался на узких диванчиках в каютах стармехов, а иногда и просто ночевал в радиорубках, где уснуть мне не давали треск морзянки и голоса вахтенных, прорывающиеся в эфир.

И моя большая каюта на плавбазе, и все мои временные пристанища были частью большого общежития, покачивающегося на волнах. По ночам светящиеся иллюминаторы кораблей делали эти корабли похожими на дома. В этих разделенных темными водами домах, кроме работы, шла еще и своя общежитская жизнь. Здесь томились и любили, ссорились и мирились, тосковали и радовались — и все это на виду у всех. Делились своими воспоминаниями — степень откровения та, что бывает в поезде или в больнице. Каюты не закрывались — замкнутая каюта вызывала подозрения. Любой мог войти к тебе в любую минуту — войти и рассказать свою жизнь, чтобы она стала частицей и твоей жизни.

В моей каюте на плавбазе в одном из рейсов прочно обосновался морской инспектор с необычным именем и фамилией — Филимон Перчик. Катер, доставивший его на плавбазу, долго догонял нас. Я заметил этот катер рано утром, когда рассеялась пелена тумана. Он мелькал вдали почти невидимой точкой, и лишь по бурунчикам, вспененным его ходом, можно было определить отделявшее нас расстояние. Плавбаза медленно шла к очередному кошельку, чтобы вычерпать пойманную рыбу, и не желала останавливаться. А может быть, капитан был осведомлен, какого гостя везут ему. Катер догонял нас полдня. И к обеду в кают-компанию появился смеющийся и беспрепятственно говорящий Филимон. Мест свободных в каютах не было, и Филимон поселился у меня. Так моя квартира-каюта превратилась в коммунальную. Поначалу я даже обрадовался соседу. Он легко сошелся не только со мной, он со всеми легко сходил. Он был опытный морской волк. Проверял суда на промысле уже не один год. Сразу же высмеял меня, когда услышал о моих скитаниях по судам промысла. «Да разве так проверяют работу! — сказал он. — Имея такую каюту — шляться по малым судам! Учись у меня!» И в тот же вечер он преподавал мне урок. Когда к плавбазе пристал очередной траулер, Филимон по радиации вызвал к себе капитана. Капитан пришел к нам в каюту с портфелем, полным рома. Филимон с ходу стал его раздалбывать. «Почему на швартовку вышли люди без защитных касок? Почему не было нарукавной повязки у старшего? Почему не зачехлены спасательные шлюпки?» И только когда капитан раскрыл портфель, Филимон успокоился. К концу швартовки мы как давние и закадычные друзья пели песни и клялись друг другу в искреннем уважении. Когда капитан ушел на свой корвет, я спросил у Филимона, откуда тот знает, что моряки были без касок. «А ты много здесь видел людей в касках?» — Филимон расхохотался.

В первые три дня я выслушал всю историю его жизни, в следующие три дня он начал повторяться. По ночам он долго не мог уснуть. Шарил в холодильнике. Открывал соки. Ставил кофейник. Осторожно подходил к моей кровати, ждал, когда я открою глаза, чтобы в который раз повторить рассказ о своей неблагодарной жене, изменившей ему сразу после свадьбы, и о теще, не раз пытавшейся его соблазнить. Рассказы свои он подкреплял вещественными доказательствами: читал мне тещино любовное послание, потом вытаскивал из-за пазухи нейлоновый шарфик, подносил его к носу, вдыхал, полузакрыв глаза от удовольствия. Совал шарфик мне под нос. Шарфик этот был его жены. Понюхав шарфик, он начинал уверять меня, как безумно он любит свою жену, как он тоскует по ней.

Но стоило ему завидеть судовую буфетчицу, как он весь расплывался, ходил за ней следом, сопел и шумно втягивал носом воздух, наполненный ароматом ее духов. И потом всю ночь мог говорить об этой буфетчице и о других женщинах, встреченных им на промысле. Все это я терпеливо выслушивал, но когда он стал бриться моими

лезвиями и чистить зубы моей щеткой, сдерживаться становилось все труднее и труднее. Коммунальная каюта неминуема должна была привести к ссоре. Спас господин случай. На одном из траулеров вышло из строя рулевое устройство. Я считался специалистом по таким механизмам и сам напросился, чтобы меня переправили на аварийный траулер... И когда я возвратился на базу, Филимона уже след простыл, и я вновь кайфовал в своих плавучих апартаментах...

Но как ни хороши плавучие дома, свой дом должен человек иметь на земле. И подошел мой черед получить его, обрести свою настоящую квартиру. И сказал шеф всего нашего рыбного управления: «Считай, ордер у тебя в кармане. Теперь нужно только решение суда о твоём выселении». Радостный, прибежал я в суд, отыскал знакомую судью и оповестил о том, что выбрасываю белый флаг, что сдаюсь, что осознал — моя квартира принадлежит заводу. Невозмутимым осталось выражение ее лица, и тоска не исчезла из ее глаз. И объяснила она, что все не так просто — и суд не сможет вынести решения о выселении, пока завод не оплатит мне сверхурочные за работу на постройке цехового дома. Ну и пришлось побегать по всем заводским инстанциям — и обязательство я им писал, что отказываюсь от сверхурочных, и на заседаниях завкома клялся, что не имею претензий к заводу — ничего не получалось. И тогда решил наш шеф: «Да пошли они все в баню с их немытым бюрократизмом!»

Так я стал обладателем цивилизованной квартиры почти в центре города со всеми удобствами. Но как быстро и незаметно пролетело время — пока ждали квартиру, сын подрос и даже женился, и даже внучки прекрасные появились. И опять новые проблемы. Опять коммуналка, опять общежитие. Да с родным человеком порой еще хуже, чем с соседями. От соседей закрылся в своей комнате — и не троньте меня, разговаривать с вами не хочу, но куда от родных денешься! Но и тут мне повезло: недолго мы мучились, у сына теперь своя квартира. И не зависим мы друг от друга. И рассориться не успели моя жена с невесткой, кратким был суровый период совместной жизни.

А сколько трагедий вокруг! Вот мой доковый механик Черкасский недавно встретился мне, рассказал про своего сынка. Бедный Черкасский, воспитывал он этого сына без жены, всю душу в него вложил. Я помню, приводил на завод мальчика — светловолосый, глаза большие, весь светится, словно ангелочек. И дом у Черкасского свой был — не то что у меня — старый немецкий коттедж, каштаны под окнами, мебель немецкая старинная. Черкасский здесь сразу после войны обосновался, помощником коменданта был. Видел я его старые фотографии — русоголовый витязь, воин-победитель на фоне Рейхстага. В нем и сейчас стать осталась, но лицо — как оно изменилось, морщины все изрезали, от былых кудрей — пучки волос на висках, и голос стал совсем тусклым.

Сели мы с ним под зонтиком в летнем кафе, взяли по кружке пива, потом повторили. И поведал он мне свою грустную историю. Живет он теперь в заводском общежитии. Лишился всего. Лет десять назад женился сын, привел невестку — маляршу из десятого цеха. Скандалить они начали с первого же дня, не ладилась у молодых жизнь. И однажды случайно подслушал он, как пилит на кухне малярша сына, вот, мол, что это за жизнь — лучшая комната у отца твоего, я здесь и за кухарку, и за уборщицу, смолит папиросы твой отец беспрестанно, и когда он еще подохнет — неизвестно, сколько можно с ним возиться. Слова эти не так возмутили, как то, что сын не вступился, не одернул, а, напротив, стал успокаивать свою маляршу: потерпи, мол, есть вариант — он человек заслуженный, в дом престарелых легко его будет определить... Ждать, когда его определят в этот дом, Черкасский не стал, сам предложил разменять особняк на две квартиры, жалко было, конечно, насиженного места, но что для сына не сделаешь — пусть живут. Разменялись — и года не прошло, как заявился сын

в двухкомнатную квартиру к Черкасскому, пьяный, замызганный, голодный. Оказалось, выгнала его малярша. Ударил он ее сгоряча при свидетелях, едва от тюрьмы отвертелся. А теперь жить негде — ночует у товарища в общежитии, а малярша и туда жалобу написала коменданту — пришлось две ночи на свалке кантоваться. Конечно, пожалел его. Стали жить опять вдвоем. Пил сын много, девок с улицы приводил — покая не было. Мало — девок, стали друзья к нему собираться — наркоманы, в притон квартиру превратили, соседи в милицию писали, в райисполком. Стыда не обобраться. Мало этого, на отца родного руку поднял, до поножовщины дошло. И добились соседи своего: выселили решением суда, отобрали квартиру. «Жить мне больше не хочется, — завершил свой рассказ Черкасский, — если бы не общежитские мои — забьются парни, как об отце родном, — давно б уже руки на себя наложил!» Стал я его утешать, как мог, говорил, что в общежитии, может быть, и лучше жить, чем одному даже в шикарном особняке томиться. Опустил он голову, прикусил губу и ладонью глаза прикрыл, чтобы я его слез не видел...

На старости лет остаться без собственной крыши над головой, без семьи — хуже не придумаешь. А сколько я таких бедолаг навидался, которым голову преклонить некуда. Многим приватизация квартир не на пользу пошла. Казалось бы, только мечтать об этом — теперь квартира тебе принадлежит, и никакое ведомство выселять тебя не посмеет, и детям своим квартиру оставишь, и продать можешь, а в другом городе купить. Вот из всех этих благ продажа самой коварной оказалась. Попал я как-то в травматологию, навидался там новоявленных бомжей. Лежал со мной в одной палате Сеня-самолет, самолетами там называли тех, у кого рука поломана — ходят они оттопырив эту руку загипсованную. Срослась у Сени рука быстро, пора на выписку, а он загрустил — некуда ему идти. Оказывается, свою квартиру в деревне он продал. Приехали к нему абхазцы — месяц обхаживали, поили и кормили, вот в пьяном бреду он все бумаги и подписал. «Куда же ты смотрел, — стал укорять его врач, — думать надо было! Хоть деньги-то сохранил?» Сеня нахмурился, потом махнул вылеченной рукой и признался: «Давно уж их нет, тех денег... Но зато вся деревня неделю не просыхала. Цыгане подкатали. Плясали и пели по ночам на взгорке, эх — про падать так с музыкой!»

И как выяснилось, податься ему некуда, дочь от него отказалась, жена давно на родину уехала, даже адреса не оставила...

И это сельский житель... Ведь как раньше в деревне за хату свою держались. Росла семья — пристройки делали, вместе все тяготы и преодолевали. И о домах для престарелых слухом не слыхивали. Мы, горожане, тоже после войны жили все вместе — и родители, и тетушка, и дядя, и бабушка. Да и как смогла бы бабушка жить отдельно — ведь пенсии она никакой не получала. Не могли и мечтать о пенсии те, кто работали на селе.

А теперь все стремятся отделиться. Старики живут без детей и внуков. В рекламе подряд объявления, по радио — с утра одно за другим. Заманивают одиноких пенсионеров «благотворительные» фирмы. Все немислимые блага обещают — и содержать будут, и надбавки к пенсии дадут, и телевизор сразу в подарок принесут — только квартиру завещай. Если столько таких фирм добреньких развелось — значит, выгодно им это. Заключат договор и ждут, когда ты закончишь свое земное существование. Есть и другие фирмы, которые переселяют людей из центральных улиц в пригороды, особая охота идет за квартирами, расположенными на первых этажах. Здесь любые деньги готовы дать — все окупится, магазин будет там, где была твоя квартира. Во всех этих переселениях и завещаниях так легко лишиться своей крыши над головой, так легко попасть в хитроумные сети...

Одни теряют квартиры, других уже даже самые роскошные квартиры не устраивают. И вот, как грибы после дождя, вырастают повсюду особняки. Двухэтажные уютные домики, даже снаружи они радуют глаз. Нет ни одного похожего друг на друга. И крыши у них островерхие черепичные, и башенки причудливые вершат эти крыши, и к подъездам ведут уложенные плиткой дорожки, и зелень аккуратно подстрижена — ну чем не Европа! А внутри все так обустроено, так отделано, так все блестит, будто и не в квартире ты, а в каком-нибудь музее. Картины на стенах, кресла старинные по углам, раковины и африканские маски за стеклами шкафов, зеркала огромные в холле, под домом — гараж, рядом — сауна, а то и бассейн, облицованный малахитом. Новые русские умеют жить! Многих это раздражает. Я тоже понимаю, что не совсем праведными путями добыты деньги для всего этого обустройства. И все же — украсили особняки город, именно в таких домах, а не в хрущевках должны жить люди. В будущем, возможно, так и будет. Большинство моих друзей в Швеции и в Германии живут именно так. И имеют даже не один дом, а несколько. Есть зимний дом — в крупном городе, есть летний дом — где-нибудь у моря или в горах, есть загородная дача...

Ну а мне пока хорошо и в моей квартире, мог ли даже мечтать о том, что будет у меня почти своя комната, свой стол — ведь мы как разделились, комната, где стоят наши кровати и телевизор, это для жены, а другая большая комната, где письменный стол и диван, — для меня. Сиди, пиши в свое удовольствие, никто тебя не потревожит. Райская жизнь!

Мало того, что своя квартира есть, так и огород теперь свой завели. Почему-то называет его жена дачей. Может быть, и вправду — дача. Природа там великолепная. Далековато, но терпимо. Час езды на автобусе. Зато место рядом с излучиной реки, от реки отделено холмами, поросшими вишней и яблонями. Были здесь когда-то хутора у немцев. Теперь — все ничейное, а от хуторских домов только фундаменты остались. Удружил нас этот огород, вернее, участок земли под будущий огород друг нашей семьи — профессор университетский. Был у него в тех прекрасных местах свой участок, одному скучно ему там было, к тому же он заядлый шахматист экстра-класса, и нужен был ему партнер. И вот на очередной мой день рождения преподнес он мне подарок — книжечку владельца шести соток земли. И стала моя жена заядлой огородницей, и вынужден был я вспомнить свое детство и взяться за лопату. А потом стали мы владельцами собственности. Дом построить нам было не по силам, и купили мы с профессором вагончик у военных. Однажды этот вагончик нас здорово выручил.

Приехали к нам в гости шведские писатели, были они в Литве на конференции и решили заскочить ненадолго к нам. Писатели, в какой бы стране они жили, пусть и в очень обеспеченной Швеции, народ небогатый. И я уговорил их: зачем вам гостиница, платить такие сумасшедшие деньги, ночуйте у меня. Они так недоуменно на нас женой посмотрели, но согласились. Мы засиделись за столом, много говорили. Один из них хорошо знал русский. Другие сносно — немецкий. Стемнело уже. Их было пятеро: довольно известный писатель-очеркист моих лет, молодой поэт-авангардист с женой, неимоверной толщины критик с обвисшими усами, похожий на моржа и Ницше одновременно, и еще одна детская писательница, рыжеволосая хохотушка. Поэта с женой мы расположили в нашей спальне. Детскую писательницу — в моей комнате на диване, огромному критику соорудили постель на полу, а для детской писательницы я добыл у соседей раскладушку. Места же для нас, конечно, не осталось. И мы уехали последним автобусом на свой огород.

Был май, не самое теплое время, но день выдался солнечный, и успели стены нашего металлического вагончика впитать тепло, и ночью мы не очень-то мерзли. Были в вагончике две койки, одна над другой, тесноватые, правда, но удобные. И вез-

де были навалены и лопаты, и грабли, и прочий инвентарь, да еще и картошка была завезена для предстоящей посадки. Теснота — не пройдешь. И вспомнилось мне: ведь жили мы после войны всей семьей в таком вагончике — и ничего, всем хватало места. Просто опанели за эти годы, привыкли к удобствам. А здесь — ни туалета, ни умывальника...

Проснулись от холода. Вышел я из вагончика. Стелился над землей туман. Трава в крупной росе. И выплывали из тумана березы. Длинная цепочка деревьев вдали. А рядом белым пламенем были охвачены кусты — это зацвел боярышник. И такой чистый был воздух — не надышаться. Пошел я к колодцу, набрал холодной прозрачной воды. Жена полила мне из ковша. И все вокруг дышало такой перевозданной свежестью, и так тихо было вокруг, что казалось, одни мы остались в этом мире. И не сговариваясь, побежали мы к реке, и там вода тоже была прозрачной, так что было видно, как мечутся в ней мелкие рыбешки. И запели со всех сторон птиц, встречая солнце, поднимающееся из-за зеленых холмов. «Ну вот, — сказала жена, — а ты клял профессора за то, что он подарил нам этот райский уголок! И вагончик не хотел покупать!» И я согласился с ней — как всегда, права. Должен человек, хотя бы изредка, почувствовать свое единение с природой, осознать, что он сам частица этого цветущего мира. Не хотелось нам возвращаться в город, но ждали нас там шведские гости — и помчались мы на такси, чтобы сэкономить время.

А гости наши уже проснулись и уже в магазин успели сходить — и ждал нас роскошный стол и новые разговоры. И так были восторженны мои гости, и так хвалили наш дом, что я даже загордился — видите, как живет писатель, все у него есть. И только позже понял я причину их восторгов. Это уже в Стокгольме, когда сидели мы в кафе на центральной улице с писателем-очеркистом, бывшим у меня в гостях, а теперь радушно принимавшим меня. Кафе было расположено на десятом этаже высотного здания, сквозь широкие окна открывался вид на центр города, было здесь уютно, и были мы здесь только вдвоем, и никто не мешал нашим разговорам. И вспоминал мой шведский друг, как впятером они ночевали в моем доме. И я понимал, побывав в его доме, где в многочисленных комнатах заблудиться можно, где все обставлено шикарной мебелью, каким убогим показалось ему мое жилье. И понял, чему они радовались тогда. Сказал он, когда допили мы ароматный кофе, что не было и не будет в его жизни такого прекрасного ночлега, как у меня, потому что вряд ли отыщется во всей Европе человек, который впустит в свой дом столько гостей, а сам уедет ночевать в вагончик... Так это в Европе, а то — Россия, сказал я ему...

Побывал я не только у него в гостях, был и в его загородном доме, обустроенном не хуже, чем особняки наших новых русских. Был я и у других писателей. И во всех домах меня поражали уют, и стерильная чистота, и все те удобства, которыми обставляли жизнь мои коллеги. Я же так и не обзавелся приличной мебелью. Раньше ее некуда было ставить. Теперь она стала непосильно дорогой для меня. Да и не испытывал я никогда нужды в комфорте, есть свой стол, есть полки, полные книг, что еще нужно...

Приезжал ко мне в гости двоюродный брат из Питера, у него там, в Северной столице, квартира не хуже, чем у моих зарубежных коллег, обустроена. Посмотрел он критически на наше жилье, сказал: так ты и остался, брат, общежитским человеком, живешь будто временно в своем доме. К тому же вызвало у него удивление обилие гостей — как раз так совпало, что именно в дни его приезда зачастили ко мне молодые поэты, и один даже ночевать остался. Но, к сожалению, так было только в дни приезда брата...

Нет уже давно в моем доме таких бурных сборищ, какие бывали в старом доме на Шпандинной. Не стало давно Корнея, он умер от инфаркта в далекой литовской дере-

вушке, нет и моего друга — узника Маутхаузена, тоже не выдержало сердце. С годами друзей не приобретаешь, а теряешь. Давно забыты и «Гастингские» новогодние турниры, теперь я играю в шахматы с компьютером, он безошибочен, экран его бесстрастен — и мои редкие победы не приносят мне удовольствия. Я, конечно, ценю тишину, мне нужно уединение, но дом без гостей наполняется тоской...

Они живут в моих воспоминаниях, мысленно я продолжаю наши споры. Мысленно я не раз возвращаюсь в море, слышу шум волн, рокот судовых дизелей, томительные гудки расходящихся кораблей...

И для всех этих морских воспоминаний послана мне неожиданная радость. Буквально за месяц перед моим домом на противоположной стороне улицы выстроен гигантский супермаркет. Особенно я люблю смотреть на него ночью, когда выхожу покурить на балкон. Длинное его здание, высвеченное огнями, плывет в темноте, козырьки у входов так похожи на форштевни, маленькие светящиеся окна и не окна вовсе, а иллюминаторы. Мне все кажется — еще мгновение, и он начнет швартовку, и меня окликнут оттуда — готовься на пересадку, и я прыгну — и очутюсь на палубе: крыша у супермаркета ровная, ну чем не палуба. Я стою и курю в ожидании этого момента, но стены-борта супермаркета остаются неподвижными. На стене красным светом сияет название — «Виктория». Недвижный корабль вписался в пространство, утром он наполнится людьми, вокруг него забегает машины и краны. И я с балкона, который превращается в крыло ходового мостика, буду наблюдать суету, подобную той, которая происходит, когда большая плавбаза пристает к желанному причалу. Мой дом тоже уже давно стоит на якоре, я достаточно попутешествовал, чтобы позволить себе ощущать под ногами ровный пол, а не качающуюся палубу, и все же я думаю: дом мой — ты последнее мое пристанище или так — временная обитель...